ОТ АВТОРА МИРОВЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ
«ЧЕСТЬ» и «СОРОК ПРАВИЛ ЛЮБВИ»
ЭЛИФ
ШАФАК
• 10 минут
Потрясающий роман, экзотичный и захватывающий.
The Times
38 секунд в этом
странном
мире •

Азбука-бестселлер

Элиф Шафак

10 минут 38 секунд в этом странном мире

«Азбука-Аттикус»
2019

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Шафак Э.

10 минут 38 секунд в этом странном мире / Э. Шафак — «Азбука-Аттикус», 2019 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-18949-2

Текила Лейла была убита. Ее сердце уже перестало биться, но в течение 10 минут 38 секунд ее мозг все еще активен. И за эти краткие минуты Лейла вспоминает свою жизнь и друзей, таких же изгоев, как она. Ее детство прошло в провинции в глубоко религиозной семье с деспотичным отцом, слепо следующим законам Корана. Не выдержав диктата отца, Лейла убегает из дому в Стамбул, где оказывается втянутой в секс-индустрию. Несмотря на жестокость, царящую в мире торговли женским телом, Лейле придется через многое пройти и многое вынести, но ей удастся сохранить главное – свою душевную чистоту… Впервые на русском языке!

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-18949-2

© Шафак Э., 2019
© Азбука-Аттикус, 2019

Содержание

Конец 6
Часть первая. Разум 10
Одна минута 10
Две минуты 21
Три минуты 29
История Налан 36
Четыре минуты 38
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Элиф Шафак
10 минут 38 секунд в этом странном мире

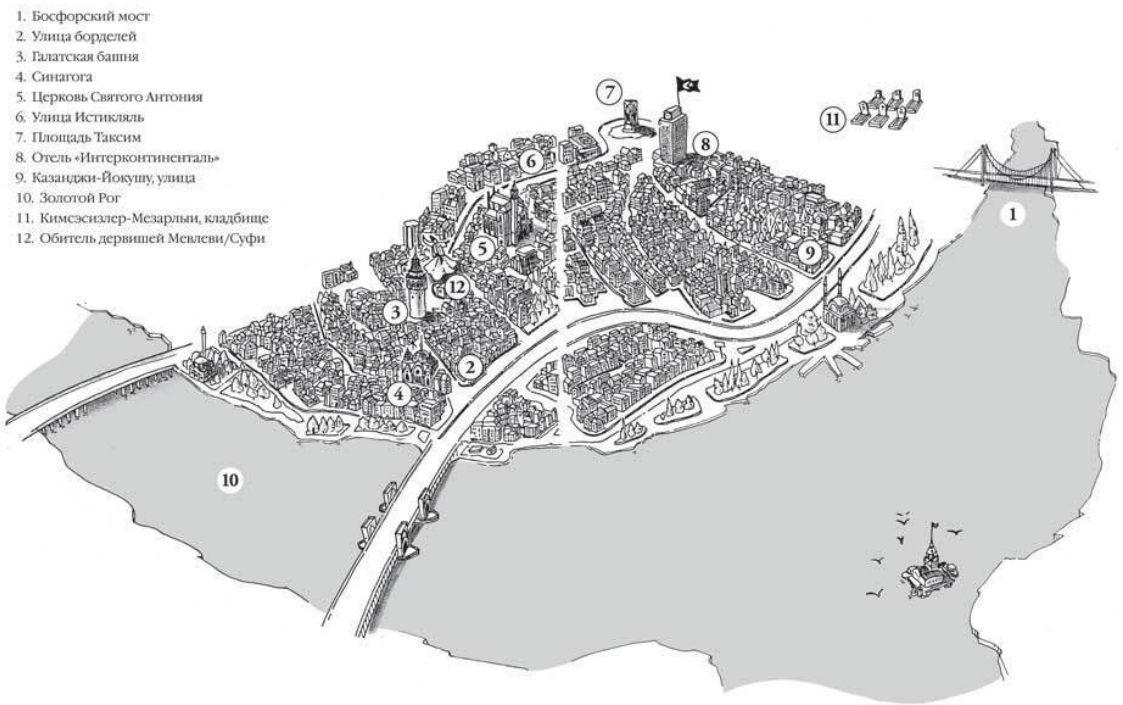
Elif Shafak
10 Minutes 38 Seconds in This Strange World

© Elif Shafak, 2019
© О. И. Лютова, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается женщинам Стамбула и самому Стамбулу, который всегда был и остается городом женского рода

И снова он немного опередил меня – теперь в расставании с этим странным миром. Но это не важно. Для нас – тех, кто верит в физику, – разделение на прошлое, настоящее и будущее имеет значение лишь как общепризнанная и неискоренимая иллюзия.
Альберт Эйнштейн о смерти своего ближайшего друга Мишеля Бессо



Конец

Ее звали Лейла.

Текила Лейла – именно под этим именем ее знали друзья и клиенты. Текилой Лейлой ее называли дома и на работе – в здании цвета розового дерева, которое притаилось в мощеном тупичке у порта, между церковью и синагогой, среди ламповых лавочек и кебабных, в тупичке, приютившем старейшие лицензированные бордели Стамбула.

Однако если бы она услышала эти слова от вас, то запросто могла бы оскорбиться и швырнуть в вас туфлей – обычно она носила туфли на высоком каблуке.

– Меня зовут, дорогуша, а не звали… Меня зовут Текила Лейла.

Ни за что и никогда она не согласилась бы, чтобы о ней говорили в прошедшем времени. От одной только мысли об этом Лейла чувствовала себя маленькой и поверженной, но ощущать себя таковой ей хотелось меньше всего на свете. Нет, она твердо отстаивала бы настоящее время, пусть даже теперь ее пронзило щемящее чувство, что сердце только что перестало биться, а дыхание резко прекратилось, и, как ни глянь, вряд ли можно отрицать факт собственной смерти.

Никто из ее друзей пока не знает об этом. В такой ранний час они наверняка крепко спят, и каждый из них пытается найти собственный путь из лабиринта снов. Лейла тоже очень хотела бы оказаться дома, под теплым одеялом и с котом, который примостился у ее ног, мурлыча в сонной неге. Она назвала его Мистером Чаплином в честь Чарли Чаплина, ибо он, как и герои первых кинофильмов, жил в своем собственном безмолвном мире.

Текила Лейла отдала бы все на свете, чтобы оказаться сейчас в своей квартире. Но вместо этого она была тут, где-то на окраине Стамбула, напротив темного и влажного футбольного поля, внутри металлического мусорного контейнера с ржавыми ручками и облупившейся краской. Это был передвижной контейнер высотой примерно четыре фута и шириной вполовину меньше. Рост самой Лейлы примерно пять футов семь дюймов, если не считать восьмидюймовые лиловые шпильки без задника, которые по-прежнему были у нее на ногах.

У Лейлы накопилась масса вопросов, в голове она продолжала прокручивать последние мгновения жизни, спрашивая себя, когда же все пошло прахом, – бесполезное упражнение, надо сказать, особенно имея в виду, что время не клубок пряжи и его нельзя размотать. Ее кожа приобретала уже серовато-белый оттенок, пусть даже в клетках все еще кипела жизнь. При всем желании Лейла не могла не заметить, что в ее органах и конечностях происходит множество процессов. Люди всегда считают, что труп полностью лишен сознания и никак не живее упавшего дерева или полого пня. Но если бы у Лейлы была малейшая возможность это сделать, она бы объявила, что, напротив, труп полон жизни.

Лейла никак не могла поверить, что с ее земным существованием покончено навсегда. Лишь за день до этого она прошлась по району Пе́ра – ее тень скользила по улицам, названным в честь военных вождей и национальных героев, по улицам, носящим мужские имена. На этой неделе ее смех эхом отлетал от стен таверн с низкими потолками в Галате и Куртулуше и маленьких душных притонов в Топхане. Ни тех ни других вы не найдете в путеводителях и на туристических картах. Стамбул, известный Лейле, резко отличался от Стамбула, который стремилось показать иностранцам министерство туризма.

Прошлой ночью она оставила отпечатки пальцев на стакане для виски и следы своих духов – «Палома Пикассо», подарок от друзей на день рождения, – на шелковом шейном платке, который бросила на кровать незнакомого мужчины в люксе на верхнем этаже роскошного отеля. Высоко над головой в небе еще посверкивало серебро вчерашней луны, ясной и недостижимой, как отблеск какого-то счастливого воспоминания. Она все еще часть этого мира, и в ней до сих пор теплится жизнь, так как же ее может не быть? Как она могла уйти,

словно сон, померкший с первым лучом дневного света? Ведь всего несколько часов назад она пела, курила, бранилась и думала… да и сейчас она все еще мыслит. Поразительно, что мозг по-прежнему работает в полную силу, хотя никто не знает, как долго это продлится. Как бы ей хотелось вернуться и объявить всем, что мертвые не умирают сразу, что на самом деле они способны размышлять о многом, включая собственную гибель! Люди испугались бы, узнав об этом, решила Лейла. Сама она точно испугалась бы, если бы была жива. Но ей чудилось, что сообщить об этом другим очень важно.

Лейле казалось, что человеческие существа слишком уж нетерпеливо относятся к важным этапам своей жизни. К примеру, они полагают, что автоматически становятся мужем и женой в тот момент, когда произносят: «Да!» Но на самом деле, чтобы стать супружеской парой, понадобится не один год. Похожим образом обстоят дела с материнским или отцовским инстинктом – общество ожидает, что он сработает, как только ребенок появится на свет. На самом же деле понять, что значит стать родителем или, раз уж на то пошло, бабушкой и дедушкой, удастся далеко не сразу. То же можно сказать о пенсии и пожилом возрасте. Получится ли немедленно переключить передачу, оказавшись вне офиса, где ты провел полжизни и профукал свои мечты? Вряд ли. Лейла знала одного учителя-пенсионера, который все равно каждое утро вставал в семь, принимал душ, садился завтракать и только после этого вспоминал, что ему уже не надо идти на работу. Он все никак не мог привыкнуть.

Возможно, и со смертью происходит так же. Люди считают, что ты стал трупом в тот самый момент, когда последний раз вдохнул и выдохнул. Но все далеко не так однозначно. Между угольно-черным и ослепительно-белым существует примерно столько же оттенков, сколько стадий у понятия «вечный покой». Если бы между царством жизни и царством загробной жизни существовала граница, решила Лейла, она была бы зыбкой, словно из песчаника.

Лейла ждала, когда взойдет солнце. Тогда наверняка кто-нибудь найдет ее и вытащит из этого грязного контейнера. Вряд ли властям понадобится много времени на установление личности. Им нужно лишь обнаружить ее досье. За все эти годы ее обыскивали, фотографировали, снимали отпечатки пальцев и держали под стражей столько раз, что она уже сбилась со счету. В полицейских участках, расположенных на глухих улочках, даже запах царит особый – пепельницы, переполненные вчерашними окурками, кофейная гуща на дне чашек с обитыми краями, несвежее дыхание, влажные коврики и резкий запах мочи, который невозможно замаскировать никаким количеством моющих средств. Полицейские и преступники помещались в одних и тех же тесных комнатках. Лейлу всегда увлекала мысль о том, что мертвые клетки кожи полицейских и преступников падали на один и тот же пол и их пожирали одни и те же пылевые клещи – без всяких пристрастий и предпочтений. В известной степени противоположности не видны человеческому глазу и смешиваются друг с другом самыми невероятными способами.

Как только власти опознают ее, они оповестят семью – так думала Лейла. Ее родители живут в историческом городе Ване, за тысячу миль отсюда. Но она и не ждала, что они приедут и заберут ее мертвое тело, раз уж много лет назад отказались от нее живой.

Ты осрамила нас. Все судачат об этом за нашими спинами.

Так что полиции придется обратиться к ее друзьям. Ко всем пятерым: Саботажу Синану, Ностальгии Налан, Джамиле, Зейнаб-122 и Голливуд Хюмейре.

Текила Лейла не сомневалась, что ее друзья придут, как только смогут. Она живо представляла себе, как они помчатся к ней – сразу же, но с неохотой. Глаза их округлятся от ужаса и нарождающейся печали, они не сразу осознают, насколько сильно горе, еще не пришло время. Лейла чувствовала себя скверно из-за того, что им придется пройти через весь этот ужас. Но приятно было сознавать, что они устроят ей великолепные похороны. Камфара и ладан. Музыка и цветы – особенно розы. Огненно-красные, ярко-желтые, темно-бордовые… Классические, всегда актуальные и непревзойденные. Тюльпаны слишком величественны, нарциссы

чересчур нежны, а от лилий хочется чихать, зато розы идеальны – сочетание пылкой притягательности и остроты шипов.

Потихоньку занимался рассвет. Над горизонтом протянулись разноцветные разводы – персиковое беллини, мартини с апельсином, клубничная маргарита, ледяной негрони – полосы с востока на запад. Спустя всего несколько секунд призывы на молитву из окрестных мечетей огласили округу, и все они звучали вразнобой. Вдалеке Босфор, проснувшись от своего черепашьего сна, мощно зевнул. Рыболовецкое судно, возвращавшееся в порт, дымно кашлянуло двигателем. Тяжелая волна лениво покатилась к городскому берегу. Когда-то этот район был украшен оливковыми рощами и инжирными садами, однако все это сровняли с землей, чтобы освободить место очередным зданиям и парковкам. Где-то в полутьме залаяла собака – скорее из чувства долга, чем от волнения. Поблизости смело и громко защебетала птица, в ответ ей выдала трель другая, но уже не так радостно. Рассветный хор. Теперь до Лейлы донесся грохот автофургона по рябой дороге – он пересчитывал одну яму за другой. Скоро гул утреннего движения станет оглушительным. Жизнь в полную силу.

Когда она еще была жива, Текила Лейла всегда немного удивлялась и даже расстраивалась, если люди с большим удовольствием и одержимостью рассуждали о конце света. Казалось бы, как человек в здравом уме может настолько верить в эти сумасшедшие сценарии: астероиды, метеориты и кометы, повергающие планету в хаос? По мнению Лейлы, апокалипсис далеко не самое страшное. Вероятность мгновенного и полного уничтожения цивилизации пугает вовсе не так сильно, как простое осознание, что кончина отдельного человека не имеет никакого влияния на окружающий мир и жизнь будет идти своим чередом – с нами или без нас. А вот это, как всегда казалось Лейле, действительно жутко.

Бриз изменил направление и подул в сторону футбольного поля. Тогда-то она и увидела их. Четверо мальчишек-подростков. Любители копаться в мусоре – ранние пташки, стремящиеся перерыть все барахло. Двое везли тележку, наполненную пластиковыми бутылками и смятыми банками. Еще один, ссутуленный и на полусогнутых ногах, тащился чуть позади – он волок запачканный мешок, в котором лежало нечто очень тяжелое. Четвертый, явно их предводитель, вышагивал впереди с нарочито важным видом, выпятив тощую грудь, – он походил на воинственного петуха. Они направлялись прямо к ней, подшучивая друг над другом.

Идите, идите.

Остановившись возле мусорного контейнера на другой стороне улицы, они принялись копаться в нем. Бутылки от шампуня, пачки от сока, ванночки от йогуртов, коробки от яиц… Каждое сокровище вытаскивалось наружу и укладывалось в тележку. Их движения были проворными и умелыми. Один нашел старую кожаную шляпу. Рассмеявшись, он надел ее на голову и, засунув руки в карманы, прошелся преувеличенно наглой и важной походкой. Видимо, подражая какому-нибудь гангстеру из кинофильма. И вдруг предводитель выхватил у него шляпу и нацепил ее себе на голову. Никто не возразил. Забрав из мусора все, что можно было, они приготовились уходить. К ужасу Лейлы, они, казалось, повернули назад, направились в противоположную сторону.

Эй, я тут!

Словно услышав мольбу Лейлы, предводитель медленно задрал подбородок вверх и, прищурившись, поглядел на рассветное солнце. Он посмотрел на меняющий цвет горизонт – его взгляд блуждал туда-сюда, пока наконец не заметил ее. Его брови дернулись вверх, а губы слегка задрожали.

Прошу, не убегай.

Он не убежал. А вместо этого сказал остальным что-то неразличимое, и теперь те тоже глазели на нее с такими же потрясенными лицами. Она вдруг поняла, насколько они молоды. Совсем еще дети, всего-навсего сопляки – мальчишки, воображающие себя мужчинами.

Предводитель сделал малюсенький шаг вперед. Затем еще один. Он шел к ней, словно мышонок к упавшему яблоку, – пугливо и застенчиво, но в то же время решительно и быстро. Его лицо потемнело, когда он приблизился и понял, в каком положении она оказалась.

Не бойся.

Он уже был рядом с ней, так близко, что Лейла могла различить белки его глаз – покрасневшие, с желтоватыми пятнами. Было ясно, что он нюхает клей – этот мальчик, которому нет еще и пятнадцати. Стамбул наверняка сделает вид, что принял и поселил его у себя, а потом, когда парень едва ли будет ожидать подвоха, отбросит в сторону, словно старую тряпичную куклу.

Позвони в полицию, сынок. Позвони в полицию, чтобы они сообщили моим друзьям.

Мальчишка посмотрел налево и направо, чтобы убедиться: никто не смотрит и камер наблюдения поблизости нет. Качнувшись вперед, он потянулся к ожерелью Лейлы – золотому медальону с крошечным изумрудом посредине. Осторожно, словно опасаясь, что она взорвется в его ладони, парень дотронулся до подвески и ощутил приятную прохладу металла. Он открыл медальон. Внутри обнаружилась фотография. Достав ее, он некоторое время разглядывал изображение. Он узнал на ней эту женщину – вернее, более юное ее изображение – и увидел зеленоглазого мужчину с нежной улыбкой и длинными волосами, уложенными по старой моде. Они казались такими счастливыми, влюбленными.

На задней стороне фотографии было подписано: *«Д/Али и я… Весна 1976 г.»*

Предводитель быстро сдернул подвеску и сунул добычу в карман. Если все прочие, молча стоявшие позади него, были в курсе его поступка, видимо, он решил не обращать на это никакого внимания. Пусть они были юнцами, однако у них хватало опыта жизни в этом городе, чтобы понимать, когда сто́ит быть умными, а когда имеет смысл прикинуться дурачками.

Только один из них шагнул вперед и осмелился спросить, понизив при этом голос до шепота:

– Она… она жива?

– Не смеши меня, – ответил предводитель. – Она не живее вареной утки.

– Бедная женщина. Кто она?

Наклонив голову набок, предводитель оглядел Лейлу так, словно узрел ее впервые. Окинув ее взглядом с ног до головы, он расплылся в улыбке, которая залила его лицо, словно опрокинутые чернила – страницу.

– Ты чё, не видишь, придурок? Это шлюха.

– Ты думаешь? – серьезным тоном спросил другой мальчишка, чересчур робкий и невинный, чтобы повторить это слово.

– Да я это знаю, идиот! – Тут предводитель встал вполоборота ко всей группе и сказал громко и многозначительно: – Эта новость будет во всех газетах. И на всех телеканалах! Мы прославимся! Когда сюда прибудут журналисты, говорить с ними буду я, понятно?

Вдалеке какая-то машина, газанув, помчалась на полном ходу к шоссе и слегка забуксовала на повороте. На ветру выхлопные газы соединились с колким привкусом соли. Даже в столь ранний час, когда солнечный свет только начал золотить минареты, крыши и верхушки иудиных деревьев, люди в этом городе уже куда-то спешили и куда-то опаздывали.

Часть первая. Разум

Одна минута

В первую минуту после смерти сознание Текилы Лейлы пошло на убыль медленно и верно, словно отлив, уходящий от берега. Клетки мозга, в которые больше не поступала кровь, были теперь совершенно лишены кислорода. Однако работу они не прекратили. Пока не прекратили. Последний запас энергии привел в действие бесчисленные нейроны, соединив их, словно в первый раз. Пусть сердце перестало биться, мозг все еще сопротивлялся, готовясь сражаться до конца. Он впал в состояние повышенного внимания: наблюдая за кончиной организма, он не торопился смириться с собственной гибелью. Память рванула вперед, пылко и настойчиво, собирая кусочки жизни, клонившейся к завершению. Лейла припомнила то, что, как ей казалось, и запомнить-то было невозможно, вещи, которые, как она считала, утрачены навсегда. Время приняло жидкую форму и превратилось в быстрый поток воспоминаний, перетекающих из одного в другое, – прошлое и настоящее стали неразделимы.

Первое воспоминание, затронувшее ее разум, было о соли – об ощущении, которое вызывало ее соприкосновение с кожей и ее вкус на языке.

Она увидела себя младенцем – голенькая, лоснящаяся и красная. Всего несколько секунд назад она покинула утробу матери и, охваченная совершенно новым для себя страхом, скользнула во влажный склизкий канал. Теперь она оказалась в комнате, полной звуков, цветовых оттенков и совершенно неизвестных вещей. Солнечный свет, проникавший сквозь витражные стекла окон, неравномерно окрашивал стеганое одеяло на кровати и отражался в воде, налитой в фарфоровую чашу, и все это – несмотря на прохладный январский день. В эту самую воду пожилая женщина в одежде, оттенками напоминавшей осеннюю листву, – повитуха – опустила полотенце, а затем выжала его, и с ее запястья закапала кровь.

– *Машалла, машалла!* Как прекрасно! Это девочка.

Повитуха вынула кусок кремня, припрятанный у нее в лифчике, и перерезала им пуповину. Она никогда не использовала для этих целей нож или ножницы, считая их холодную рациональность совершенно не подходящей для ее хлопотного дела – приветствия младенца в этом мире. Старушку очень уважали в округе и считали за все ее чудачества и затворничество личностью загадочной, имеющей две стороны – земную и неземную; словно подброшенная в воздух монета, она могла в любой момент показать одно из двух своих лиц.

– Девочка, – вторила ей молодая мать, лежавшая на кованой кровати с четырьмя столбиками; ее каштаново-русые волосы сбились в ком от пота, а во рту было сухо, словно туда насыпали песка.

Женщина очень волновалась, что так и будет. В начале месяца она вышла на прогулку в сад и стала искать паутину на верхних ветвях деревьев, а когда нашла, осторожно просунула в нее палец. Спустя несколько дней она проверила это место. Если бы паук залатал прореху, значит ребенок – мальчик. Однако паутина так и осталась дырявой.

Молодую женщину звали Бинназ – «тысяча обольщений». Ей было девятнадцать лет, хотя в этом году она чувствовала себя куда старше. У нее были полные губы, изящный вздернутый нос, который в этой части страны считался большой редкостью, вытянутое лицо с заостренным подбородком и большие темные глаза, испещренные синими крапинками, словно яйца скворца. Она всегда была стройной, хрупкого телосложения, но сейчас, в рыжевато-коричневой льняной ночной рубашке, выглядела совсем уж тоненькой. У нее на щеках было несколько едва заметных шрамиков от оспы. Однажды ее мама сказала: это признак того, что во сне девочку ласкал лунный свет. Она скучала по своим маме, отцу и девяти братьям и сестрам,

которые жили в деревеньке в нескольких часах езды отсюда. Семья ее была очень бедна – об этом ей частенько напоминали с того самого момента, как она молодой невестой вошла в этот дом.

Будь благодарна. Когда ты приехала сюда, у тебя ничего не было.

И до сих пор ничего нет, то и дело думала Бинназ: ее имущество было так же эфемерно и беспочвенно, как семена одуванчика. Поднимись сильный ветер с моря или разразись проливной дождь – и нет семян, ничего нет. Словно камень у нее на душе лежало подозрение, что из этого дома ее могут выкинуть в любой момент. И куда ей идти, если это произойдет? Отец никогда не примет ее назад – с таким-то количеством ртов у него в доме! Ей придется снова выходить замуж, но нет никакой гарантии, что следующий брак станет счастливее, а новый муж будет милее ее сердцу. Да и кто вообще захочет взять в жены разведенную, использованную женщину? Отягощенная такими подозрениями, Бинназ всюду чувствовала себя незваной гостьей – в этом доме, в своей спальне и даже в собственном сознании. Так было до сего момента. С рождением этого младенца все переменится, убеждала она себя. Она больше не будет чувствовать себя не в своей тарелке, не будет такой неуверенной.

Бинназ ужасно не хотелось, но она все же посмотрела на дверь комнаты. Там, положив одну руку на бедро, а другую на дверную ручку, словно размышляя, имеет ли смысл уйти или все-таки остаться, стояла крепкая на вид женщина с квадратным подбородком. Ей было всего сорок с небольшим, однако пигментные пятна на руках и морщинки вокруг тонкого, словно лезвие, рта делали женщину куда старше. Лоб ее пересекали глубокие морщины, неровные и преувеличенные, словно борозды на поле, а складки на лице возникли в основном оттого, что женщина часто хмурилась и курила. Целыми днями она дымила табаком, нелегально завезенным из Ирана, и попивала чай – контрабанду из Сирии. Кирпично-рыжие волосы женщины – спасибо щедрым порциям египетской хны, которые она на них наносила, – были разделены по пробору и заплетены в безупречную косу, которая доставала почти до талии. А светло-карие глаза были старательно подведены самым темным карандашом для век. Она – первая жена по имени Сюзан мужа Бинназ.

Мгновение женщины смотрели друг другу в глаза. Воздух между ними казался густым и бурлящим, словно поднимающееся тесто. Все это время они по двенадцать часов проводили в одной и той же комнате, однако сейчас их будто разбросало по разным мирам. Обе знали, что с рождением этого ребенка их места в семье навсегда изменятся. Несмотря на юность и недавний брак, вторая жена вот-вот займет главенствующую позицию.

Сюзан отвела глаза, но ненадолго. Когда она снова посмотрела на Бинназ, в ее лице появилась суровость, которой раньше никогда не было.

– Почему она молчит? – кивнула Сюзан на младенца.

– Да. – Бинназ стала мертвенно-бледной. – Что-то не так?

– Все так, – ответила повитуха, наградив Сюзан ледяным взглядом. – Просто нужно подождать.

Повитуха омыла ребенка святой водой из колодца Замзам, доставшейся ей от паломника, который совсем недавно вернулся из хаджа. Кровь, слизь и первородная смазка были удалены. Новорожденная недовольно скорчилась и продолжала корчиться даже после омовения, будто бы боролась сама с собой – с восемью фунтами и тремя унциями собственного тельца.

– Можно мне взять ее? – спросила Бинназ, накручивая волосы на кончики пальцев; эта нервная привычка появилась у нее за последний год. – Она… она не плачет…

– О, она заплачет, эта девочка, – решительно возразила повитуха, но тут же прикусила язык: это заявление прозвучало как темное предсказание.

Она тут же трижды плюнула на пол и наступила правой ногой на свою левую ногу. Это не позволит сбыться дурному предчувствию, если оно и было.

В комнате повисло неловкое молчание: первая жена, вторая жена, повитуха и две соседки – все, кто был там, – выжидающе смотрели на младенца.

– Что такое? Скажите мне правду, – пробормотала Бинназ, не обращаясь ни к кому конкретно, голос ее звучал тихо-тихо.

Всего за несколько лет у нее было шесть выкидышей – и каждый последующий был сокрушительнее предыдущего, оставляя глубокий след в памяти, а потому всю беременность Бинназ была крайне осторожна. Она ни разу не дотронулась до персика, чтобы младенец не был покрыт пушком, ни разу не добавляла в свою стряпню специи и травы, чтобы у ребенка не было веснушек и родинок, и не нюхала розы, чтобы у малыша не было винных пятен. Ни разу она не подстригала волосы, чтобы никто не смог укоротить удачу ребенка. Ей пришлось воздержаться от вколачивания гвоздей в стену, чтобы случайно ударом по голове не разбудить спящего вурдалака. Она прекрасно знала, что джинны часто справляют свадьбы неподалеку от туалетов, а потому, когда спускалась тьма, не выходила из комнаты, пользуясь ночным горшком. Ей както удалось ни разу не посмотреть на кроликов, крыс, кошек, ястребов, дикобразов и бродячих собак. Даже когда на их улицу забрел странствующий музыкант с танцующим медведем и все местные вывалили на улицу посмотреть представление, Бинназ отказалась идти с ними, опасаясь, что ее ребенок родится волосатым. Стоило ей натолкнуться на попрошайку, прокаженного или увидеть катафалк, она тут же разворачивалась и мчалась прочь в противоположном направлении. Каждое утро она съедала по целой айве, чтобы у ребенка были ямочки на щеках, а по ночам спала с ножом под подушкой, отгораживаясь от злых духов. И после каждого заката тайно собирала волоски со щетки Сюзан, чтобы сжечь их в камине и таким образом уменьшить власть первой жены своего мужа.

Как только начались схватки, Бинназ надкусила красное яблоко, сладкое и помягчевшее на солнце. Теперь оно лежало на столике возле ее кровати и уже стало темнеть. Это самое яблоко вскоре разрежут на ломтики и раздадут соседским женщинам, которые не смогли забеременеть, чтобы и они однажды понесли. А еще Бинназ пила гранатовый шербет, налитый в правый ботинок ее мужа, бросала семена фенхеля во все четыре угла комнаты и прыгала через метлу, брошенную на пол перед самой дверью, – это граница, за которую не мог проникнуть шайтан. Как только схватки усилились, всех животных, содержавшихся в клетках в их доме, постепенно начали отпускать, чтобы облегчить роды. Канареек, вьюрков… Последней отпустили бойцовую рыбку-петушка, в гордом одиночестве обитавшую в стеклянной чаше. Теперь она наверняка плавала в ближайшем ручейке, перебирая длинными плавниками, синими, словно прекрасные сапфиры. Если эта рыбка доплыла до содового озера, которым славился этот город в Восточной Анатолии, ей вряд ли удалось выжить в соленой карбонатной воде. Однако если рыбка направилась в противоположную сторону, она могла добраться до Большого Заба, а чуть позже даже оказаться в Тигре, той легендарной реке, что берет начало в Садах Эдема.

Все это делалось, чтобы ребенок родился легко и был здоровым.

– Я хочу увидеть ее. Не могли бы вы принести мою дочь?

Не успела Бинназ произнести это, как ее внимание привлекло какое-то движение. Тихо, словно мелькнувшая мысль, Сюзан открыла дверь и выскользнула наружу, – без сомнения, она хотела оповестить своего мужа – их мужа. Бинназ напряглась всем телом.

Харун – мужчина, прямо-таки искрившийся противоположностями. Один день он был невероятно щедрым и милосердным, а на следующий становился до безобразия эгоцентричным и отстраненным. Он был старшим сыном, а потому вырастил своих братьев сам после гибели родителей в автокатастрофе – событие это, разумеется, перевернуло для них весь мир. Трагедия серьезно повлияла на его личность, сделав его гиперопекуном для всей семьи и недоверчивым по отношению к чужакам. Порой он обращал внимание, что внутри его что-то сломалось, и очень стремился наладить это, однако такие мысли не приводили его ни к каким

результатам. Он одинаково сильно любил алкоголь и боялся религии. Опрокидывая очередной стакан *ракы*, Харун обычно давал серьезные обещания своим собутыльникам, а потом, отрезвевший, убитый чувством вины, давал еще более серьезные обещания Аллаху. Ему с трудом удавалось контролировать свой язык, однако с телом дела обстояли куда сложнее. Каждый раз, когда Бинназ беременела, его живот тоже, словно по команде, раздувался – не слишком заметно, однако достаточно, чтобы соседи посмеивались у него за спиной.

– Этот мужчина снова в положении, – закатывая глаза, говорили они. – Жаль, что он сам не может родить.

Больше всего на свете Харун хотел сына. И не одного. Он рассказывал всем, кому не лень было слушать, что у него будет четыре сына, которых он назовет Таркан, Толга, Туфан и Тарик[1]. Долгие годы брака с Сюзан не принесли потомства. Тогда старейшины семейства отыскали Бинназ – девушку, которой едва исполнилось шестнадцать. Неделю семьи вели переговоры, после чего Харун и Бинназ поженились по религиозному обычаю. Брак был неофициальным, и, если бы в будущем что-то не сложилось, светские суды его не признали бы, однако этой детали никто не стал упоминать. Они вдвоем сидели на полу перед свидетелями и напротив косоглазого имама, чей голос стал еще более сиплым, когда он перешел с турецкого на арабский. Всю церемонию Бинназ не поднимала глаз от ковра, хотя периодически против собственной воли то и дело глядела на ступни имама. Его бледно-коричневые носки оттенка высохшей почвы были старыми и поношенными. Каждый раз, когда он менял позу, его большой палец грозился выползти из потертой шерсти, словно и вправду мечтал сбежать.

Вскоре после свадьбы Бинназ забеременела, однако все закончилось выкидышем, из-за которого она чуть не погибла. Полуночная паника, горячие черепки боли и холод в паху, словно ее сжимала чья-то ледяная рука, запах крови, необходимость за что-то держаться, словно она падает, падает, падает… Это же повторялось со всеми последующими беременностями, только еще хуже. Она ни с кем не могла обсудить случившееся, но, казалось, с каждым потерянным ребенком какая-то часть канатного моста, связывающего ее с миром, лопалась и отпадала. И вот осталась лишь совсем хлипкая нить, соединяющая ее с этим миром, помогающая оставаться в своем уме.

После трех лет ожидания старейшины семьи снова принялись давить на Харуна. Они напомнили ему, что Коран позволяет мужчине иметь до четырех жен при условии, что он будет справедлив к ним, а у них нет никаких сомнений, что Харун станет обращаться со всеми женами одинаково. На этот раз они призвали его поискать крестьянку, пусть даже она будет вдовой с собственными детьми. Такой брак тоже не будет официальным, но еще одна религиозная церемония возможна, такая же тихая и быстрая, как в прошлый раз. Как вариант, он может развестись со своей бесполезной молодой женой и жениться снова. До нынешнего момента Харун не прислушался ни к одному их совету. Он сказал, что и двух-то жен содержать сложновато, третья полностью разорит его, да и нет у него намерения расставаться ни с Сюзан, ни с Бинназ, так как он полюбил обеих, пусть и по разным причинам.

Теперь, опираясь на подушки, Бинназ пыталась вообразить, что же делает Харун. Возможно, он лежит на диване в соседней комнате, положив одну руку себе на лоб, а другую на живот, и ждет, когда тишину пронзит крик младенца. Потом она представила себе, как к нему точно выверенными, неторопливыми шагами подходит Сюзан. Бинназ видела их вдвоем, когда они шептались друг с другом, их жесты казались привычными и отточенными, они годами вырабатывались у людей, деливших одно и то же пространство, пусть даже уже не одну постель. Встревоженная собственными мыслями, Бинназ произнесла, обращаясь скорее к себе, чем к кому-то еще:

---

[1] Имена эти соответственно означают: «смелый и сильный», «боевой шлем», «потоп, наводнение» и «путь к Богу». – *Примеч. автора.*

– Сюзан рассказывает ему.

– Ну и хорошо, – успокоительным тоном сказала одна из соседок.

Сколько всего вложила она в эту фразу! «Пусть она доложит о рождении малютки, которую не способна родить сама». Невысказанные слова повисали между женщинами этого города, как бельевые веревки между домами.

Бинназ кивнула, пусть даже в груди закипало нечто темное – ярость, которую она никогда не выпускала наружу. Она посмотрела на повитуху и спросила:

– Почему малышка все еще не издала ни звука?

Повитуха не ответила. Предчувствие беды засело у нее глубоко-глубоко. В этом младенце было что-то диковинное – и дело не только в тревожном молчании. Она наклонилась пониже и понюхала ребенка. Так она и думала: пудровый, мускусный аромат, неземной какой-то.

Положив новорожденную себе на колени, женщина перевернула ее на животик и хлопнула по попке – один раз, второй. На маленьком личике отразились ужас, боль. Ее ручки сжались в кулачки, ротик растянулся тугой морщинкой, но все равно звука она никакого не издала.

– В чем дело?

– Ни в чем, – вздохнула повитуха. – Просто… Мне кажется, она все еще с ними.

– С кем – с ними? – спросила Бинназ, однако, не желая слышать ответ, быстро добавила: – Тогда сделайте что-нибудь!

Старуха задумалась. Лучше, когда ребенок самостоятельно ищет путь со своей собственной скоростью. Большинство новорожденных тут же привыкают к новому окружению, но есть те, что предпочитают немного задержаться, словно колеблются, стоит ли им объединяться с человечеством. Да и кто станет осуждать их? За долгие годы повитуха повидала достаточно младенцев. Попадались такие, кто накануне рождения или сразу после него был так напуган жизнью, которая давила на них со всех сторон, что тут же сникали и уходили из этого мира. *«Кадер»*, называли это люди, то есть «судьба», – и больше ничего не говорили, потому что сложным, пугающим событиям люди всегда дают простые имена. Однако повитуха верила, что некоторые младенцы просто отказываются от попытки жить, будто бы знают, как им будет тяжко, и предпочитают избегать сложностей. Трусят они или проявляют Соломонову мудрость? Кто знает?

– Принесите мне соли, – попросила повитуха у соседок.

Можно было бы использовать снег, если бы на дворе был свежевыпавший покров. В прошлом она не раз опускала новорожденных в кучу чистого снега и вытаскивала их в нужный момент. Под воздействием холода легкие их открывались, кровь начинала двигаться, а иммунитет укреплялся. Все эти младенцы – все без исключения – выросли потом в крепких взрослых.

Через некоторое время соседки вернулись с большой пластиковой миской и пакетом каменной соли. Повитуха ласковыми движениями поместила малышку в центре миски и принялась растирать ее тельце комочками соли. Как только ребенок перестанет пахнуть ангелом, собратьям придется отпустить ее. На улице, в верхушке тополя, какая-то птичка принялась выводить свою трель. Судя по звуку, это была голубая сойка. Какая-то ворона закаркала, отправляясь в путь навстречу солнцу. Всё вокруг говорит на своем языке – ветер, трава… Но только не этот ребенок.

– Может, она немая? – не унималась Бинназ.

Брови повитухи поползли вверх.

– Потерпи немного.

Как по заказу, малышка начала кашлять. Это был хриплый горловой звук. Вероятно, она проглотила немного соли и ее вкус показался младенцу резким и неожиданным. Густо покраснев, малышка чмокнула и наморщила личико, но плакать все равно отказывалась. Как

же она упряма, как же опасно иметь такую бунтарскую душу! Просто натереть ее солью будет недостаточно. И вот тут повитуха приняла решение. Она испробует другой способ.

– Принесите еще соли.

В доме не осталось больше каменной соли, а потому придется довольствоваться столовой. Повитуха проделала углубление в горке соли и полностью погрузила туда ребенка, засыпав кристалликами сначала все ее тельце, а затем и головку.

– А если она задохнется? – испугалась Бинназ.

– Не волнуйся, младенцы умеют задерживать дыхание куда дольше, чем мы.

– Но как вы поймете, что пора ее вытаскивать?

– Тсс! Слушай, – произнесла старуха, приставив палец к своим потрескавшимся губам.

Под верхним слоем соли младенец, открыв глаза, уставился в молочную пустоту. Там было одиноко, но малышка привыкла к одиночеству. Свернувшись клубком, как она это делала многие месяцы, новорожденная ждала своего часа.

Некий внутренний голос говорил ей:

Ах, как хорошо здесь, я больше не хочу наверх.

А сердце ее возражало:

Не будь дурочкой. Зачем оставаться там, где ничего не происходит? Это скучно.

Зачем же покидать место, где ничего не происходит? Здесь безопаснее, настаивал внутренний голос.

Озадаченная внутренней ссорой, малышка ждала. Прошла еще минута. Пустота обвивала и обрызгивала ее, укутывая пальчики на ножках и на ручках.

Даже несмотря на то, что здесь безопасно, как ты считаешь, это не значит, что место подходящее, парировало сердце. *Иногда безопаснее всего чувствуешь себя там, где тебе совсем не место.*

И вот малышка приняла решение. Она послушается своего сердца – того самого, от которого потом будет полно неприятностей. Ей стало интересно выбраться наружу и исследовать мир, несмотря на все его опасности и сложности, а потому она открыла ротик, чтобы наконец издать какой-то звук, но соль тут же посыпалась в ее глотку, перекрыла ей нос.

И повитуха быстрыми, умелыми движениями погрузила руки в миску и вытащила ребенка. Комнату наполнил громкий и пугающий плач. Все четыре женщины радостно улыбнулись.

– Молодец! – похвалила повитуха. – Почему так долго молчала? Плачь, дорогуша. И никогда не стыдись своих слез. Плачь – и никто не усомнится, что ты жива.

Старуха завернула ребенка в платок и снова понюхала ее. Загадочный, потусторонний аромат испарился, оставив лишь слабый след. Через некоторое время он исчезнет полностью, хотя она знала достаточно людей, которые, даже будучи стариками, все еще испускали едва заметный запах рая. Но у нее не было необходимости делиться такими сведениями. Приподнявшись на носках, повитуха положила новорожденную на кровать рядом с матерью.

Бинназ расплылась в улыбке, сердце ее затрепетало. Сквозь шелковистую ткань она нащупала пальчики на ногах своей дочери – они были идеально красивыми и пугающе хрупкими. Она нежно зажала малышкины кудряшки меж своих ладоней, словно ей в руки кто-то налил святую воду. В эту минуту она почувствовала себя счастливой и полноценной.

– А ямочек-то и нет, – заметила она и про себя захихикала.

– Позвать твоего мужа? – спросила одна из соседок.

В этом вопросе тоже содержалось много невысказанного смысла. Сюзан наверняка уже сообщила Харуну, что ребенок родился, так почему же он еще не прибежал сюда? Он явно задержался для разговора со своей первой женой и пытается унять ее волнение. Видимо, ему это важнее.

Тень промелькнула на лице Бинназ.

– Да, позовите его.

В этом не было необходимости. Через несколько секунд в комнату вошел Харун – он вышел на солнечный свет из тьмы, сгорбившись, втянув голову в плечи. Шевелюра седеющих волос придавала ему вид рассеянного мыслителя, а еще его отличали властный нос с упругими ноздрями, широкое гладковыбритое лицо и темно-карие глаза с опущенными книзу внешними уголками, которые так и светились чувством собственного достоинства. С улыбкой он подошел к кровати. Посмотрел на младенца, свою вторую жену, повитуху, затем на первую жену, а после возвел глаза к небу:

– Аллах, благодарю Тебя, мой Господин! Ты услышал мои молитвы.

– Девочка, – констатировала Бинназ на случай, если он еще не понял.

– Знаю. Следующим будет мальчик. Мы назовем его Таркан. – Харун провел указательным пальцем по лбу ребенка; на ощупь тот оказался таким же гладким и мягким, как любимый амулет, к которому прикасаешься годами. – Она здорова, это самое главное. Все это время я молился. Я сказал Всевышнему: «Если Ты позволишь этому младенцу жить, я больше не стану пить. Ни капли!» Аллах услышал мои мольбы, Он милосерден. Это не мой ребенок и не твой.

Бинназ уставилась на мужа – в глазах ее читалось замешательство. Внезапно ее охватило чувство тревоги. Словно дикий зверь, она ощутила – пусть даже слишком поздно, – что оказалась в ловушке. Она бросила взгляд на Сюзан. Первая жена стояла у входа, губы ее были сжаты так плотно, что совершенно побелели, она была абсолютно неподвижна, если не считать ноги, которая беспокойно постукивала по полу. В ее поведении было нечто такое, что намекало на волнение и даже чрезмерную радость.

– Этот младенец принадлежит Богу, – произнес Харун.

– Как и все младенцы, – пробормотала повитуха.

Не обратив внимания на эту фразу, Харун взял младшую жену за руку и посмотрел ей прямо в глаза:

– Мы отдадим малышку Сюзан.

– Что ты такое говоришь? – пробормотала Бинназ, и собственный голос показался ей каким-то безжизненным и далеким, словно говорил кто-то другой, а не она.

– Пусть Сюзан вырастит ее. Она превосходно справится. А мы с тобой нарожаем еще детей.

– Нет!

– Ты не хочешь других детей?

– Я не позволю этой женщине забрать мою дочь.

Харун глубоко втянул воздух, а затем медленно выпустил его.

– Не будь эгоистичной. Аллах не одобрит этого. Он ведь подарил тебе ребенка. Благодари Его. Ты едва сводила концы с концами, когда вошла в этот дом.

Бинназ покачала головой и продолжала качать ею непонятно зачем: то ли не могла остановиться, то ли единственное, что могла еще контролировать, так это собственные движения. Наклонившись, Харун взял ее за плечи и прижал к себе. И только тогда она замерла, а глаза ее поблекли.

– Ты говоришь неразумно. Все мы живем в одном доме. Ты будешь видеть дочь каждый день. Господи, она ведь никуда не денется!

Если так он решил успокоить жену, это ему не удалось. Она вся тряслась, силясь сдержать боль, что раздирала ей грудь, и закрыла лицо ладонями:

– И кого же моя дочь будет называть мамой?

– Какая разница? Мамой может быть Сюзан. А ты будешь тетей. Мы расскажем дочке правду, когда она станет старше, нет смысла морочить ей голову прямо сейчас. Когда у нас будут другие дети, так или иначе они станут братьями и сестрами. Ты увидишь, как начнут они бушевать в этом доме. И непонятно будет, кто чей. Мы станем одной большой семьей.

– Кто будет кормить ребенка? – спросила повитуха. – Мама или тетя?

Харун поглядел на старуху, и каждая мышца напряглась в его теле. Почтение и ненависть заплясали бешеным танцем в его глазах. Сунув руку в свой карман, он вытащил целую кучу предметов: помятую пачку сигарет, в которую была засунута зажигалка, скомканные банкноты, кусок мела, которым он помечал, что нужно переделать в том или ином костюме, и таблетку от расстройства желудка. Деньги он протянул повитухе.

– Это вам – в знак нашей благодарности, – произнес он.

Поджав губы, повитуха приняла плату за свой труд. По ее опыту, идти по жизни в относительной целости и сохранности можно в основном благодаря двум принципам: пониманию, когда лучше прийти, и пониманию, когда лучше уйти.

Соседки принялись собирать свои вещи и убирать пропитанные кровью простыни и полотенца, а по комнате, словно вода, проникшая в каждый угол, разлилось молчание.

– Мы уходим, – с тихой решимостью сказала повитуха; две соседки скромно стояли по обе стороны от нее. – Мы закопаем плаценту под розовым кустом. А это… – Костлявым пальцем она указала на пуповину, которая лежала на стуле. – Если хотите, мы забросим ее на крышу школы. Ваша дочь будет учительницей. Или отнесем в больницу. Тогда она будет медсестрой, а может, и врачом – кто знает.

Харун обдумал оба варианта.

– Пусть будет школа, – кивнул он.

Когда женщины ушли, Бинназ отвернулась от мужа, обратив свой взгляд на прикроватный столик, где лежало яблоко. Оно начало гнить – разложение это было до боли медленным, спокойным и незаметным. Коричневый оттенок напомнил ей носки имама, который женил их, и как после церемонии она, в мерцающем покрывале, скрывавшем ее лицо, сидела одна на этой самой кровати, а ее муж вместе с гостями пировал в соседней комнате. Мама ничего не рассказала ей о том, чего следует ожидать в первую брачную ночь, зато старшая тетя с бóльшим сочувствием отнеслась к тревогам девушки, дала ей таблетку, которую нужно было положить под язык. *Прими ее, и ты ничего не почувствуешь. Все закончится – ты и заметить не успеешь.* В суматохе дня Бинназ потеряла таблетку, которая, как она подозревала, все равно была бесполезной конфеткой. Она ни разу не видела обнаженного мужчину, даже на картинках. Несмотря на то что она часто купала своих младших братьев, у нее были подозрения, что тело взрослого мужчины – совсем другое. Чем дольше она ждала своего мужа в этой комнате, тем сильнее становилась ее тревога. Едва заслышав его шаги, Бинназ потеряла сознание и упала на пол. Открыв глаза, она увидела соседских женщин, неистово растирающих ее запястья, увлажняющих лоб, массирующих ступни. В воздухе повис резкий запах одеколона и уксуса, а также оттенки чего-то другого, чего-то незнакомого и непрошеного, который, как она потом поняла, исходил от тюбика с лубрикантом.

После, когда они все-таки остались вдвоем, Харун подарил ей ожерелье, сделанное из красной ленты и трех золотых монет – каждая обозначала добродетель, которую она должна принести в этот дом: молодость, покорность и плодовитость. Заметив, как она нервничает, он говорил тихо, и его голос растворялся во мраке. Харун был ласков, однако отчетливо ощущал присутствие людей, ждавших за дверью. Он спешно раздел ее, возможно опасаясь, что она снова потеряет сознание. Бинназ все это время провела с закрытыми глазами, на лбу у нее выступил пот. Она начала считать: «Один, два, три… пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…» И продолжала делать это, даже когда он сказал:

– Прекрати эту чепуху!

Бинназ была неграмотной и умела считать лишь до девятнадцати. Каждый раз, добравшись до этого числа, до этого непреодолимого барьера, она набирала в легкие воздуха и принималась считать с начала. После бесконечных девятнадцати Харун наконец выбрался из кро-

вати и пошел прочь из комнаты, оставив дверь открытой. Затем в спальню ворвалась Сюзан и включила свет, не обращая внимания ни на обнаженную Бинназ, ни на запах пота и секса, повисший в воздухе. Первая жена выдернула простыню, осмотрела ее и, явно довольная, безмолвно удалилась. Остаток вечера Бинназ провела в одиночестве. Уныние осело на ее плечах тонким слоем, словно их припорошило снегом. Когда она припомнила все это теперь, с ее губ слетел странный звук, который походил бы на смешок, если бы в нем не было столько боли.

– Ну же, – сказал Харун. – Это не…

– Это была ее идея, верно? – Бинназ перебила его, такого раньше никогда не случалось. – Она сама выдумала этот план? Или вы строили его вдвоем несколько месяцев? За моей спиной.

– Конечно, ты хотела сказать что-то другое. – Харун был потрясен, но, возможно, не самими словами, а тоном жены; левой рукой он погладил волосы на внешней стороне своей правой руки, глаза его казались потускневшими и отрешенными. – Ты молода. А Сюзан стареет. У нее никогда не будет собственного ребенка. Сделай ей подарок.

– А я? Кто сделает подарок мне?

– Разумеется, Аллах. Он уже сделал его, разве ты не поняла? Не будь неблагодарной.

– Я должна быть благодарна за это?

Бинназ слегка взмахнула руками, этот жест был настолько невнятным, что мог относиться к чему угодно – и к этой ситуации, и даже к этому городу, который теперь казался ей всего лишь одним из захолустных селений на какой-то старой карте.

– Ты устала, – сказал Харун.

Бинназ начала плакать. В ее слезах не было ярости и обиды. Это были слезы обреченности – ее поражение было равносильно утрате более масштабной веры. Воздух у нее в легких был тяжелее свинца. Она приехала в этот дом, когда сама еще была ребенком. Теперь же, родив собственное дитя, она не могла вырастить ее и вместе с ней наконец повзрослеть. Она обвила колени руками и еще очень долго молчала. Итак, тема была закрыта здесь и сейчас, хотя, говоря по правде, она всегда оставалась открытой, эта рана посреди их жизни, рана, которая никогда не затянется.

За окном, толкая вперед по улице свою тележку, какой-то торговец откашлялся и принялся нараспев нахваливать абрикосы, сочные и спелые. Сидя в доме, Бинназ подумала: как странно, сейчас не сезон для абрикосов, сейчас время ледяных ветров. Она поежилась, будто холод, которого не чувствовал торговец, просочился сквозь стены и окутал ее. Она закрыла глаза, но темнота ей не помогала. Она видела снежки, они падали, складываясь в ужасающие пирамиды. И теперь они посыпались на нее, мокрые и жесткие, из-за того что в них были камни. Один снежок ударил ее по носу, за ним последовали другие – они летели быстро, и их было много. Еще один снежок угодил ей в губу и разбил ее. Ахнув, она открыла глаза. Это было на самом деле или это просто сон? Бинназ неуверенно дотронулась до носа. Из него текла кровь. И на подбородке у нее была кровь.

Как странно, снова подумала она.

Неужели никто больше не видит, какую ужасную боль она испытывает? А если не видит, означает ли это, что все происходит только у нее в голове, что все это просто выдумка?

Этот случай не был для нее первой встречей с душевной болезнью, однако навсегда остался самым ярким. Даже спустя многие годы каждый раз, когда Бинназ задумывалась о том, как и когда здравый ум ускользнул от нее, словно вор, убегающий во мрак через окно, в мыслях она возвращалась именно к этому моменту, который, как ей казалось, подорвал ее навсегда.

Тем же вечером Харун поднял малышку в воздух, повернул в сторону Мекки и произнес в ее правое ушко *азан*, зов к молитве.

– Ты, моя дочь, ты по желанию Аллаха станешь первой из многих детей под этим кровом, ты, чьи глаза темны, словно ночь, я назову тебя Лэйла. Но не просто какая-то Лэйла. Еще я

нареку тебя именами моей матери. Твоя *нинэ* была честной женщиной, она была очень верующей, какой, я уверен, однажды будешь ты. Я нареку тебя Афифа – «целомудренная, чистая». А еще я нареку тебя Камила – «совершенная». Ты будешь скромной, чистой, как вода… – Харун замолчал; его начала мучить мысль, что не всякая вода чиста, и тогда он добавил, несколько громче, чем хотел, просто чтобы на небесах ничего не перепутали и Бог понял его правильно: – Как родниковая вода – чистая, незагрязненная… Все матери Вана станут журить своих дочерей: «Почему ты не такая, как Лэйла?» И мужья будут говорить своим женам: «Почему ты не смогла родить такую же девочку, как Лэйла?»

Тем временем малышка пыталась запихнуть кулачок себе в рот и каждый раз, потерпев неудачу, морщила губки и корчила недовольную мину.

– Я буду очень гордиться тобой, – продолжал Харун. – Твоей верностью своей религии, верностью своей нации, верностью своему отцу.

Раздражаясь на саму себя и в конце концов уразумев, что ее сжатая ручка просто-напросто слишком велика, малышка принялась рыдать так, словно решила наверстать упущенное время молчания. Ее тут же отдали Бинназ, которая, ничуть не усомнившись, принялась кормить ребенка – жгучая боль выписывала круги вокруг ее сосков, словно хищная птица в небесах.

Чуть позже, когда малышка заснула, Сюзан, поджидавшая в сторонке, подошла к кровати, стараясь двигаться беззвучно. Не поднимая глаз на вторую жену, она забрала младенца у матери.

– Я принесу ее снова, когда она заплачет, – нервно сглатывая, произнесла Сюзан. – Не волнуйся. Я хорошо о ней позабочусь.

Бинназ ничего не сказала в ответ, ее лицо было бледным и истертым, словно старая фарфоровая тарелка. Она не издавала никаких звуков, кроме дыхания, очень слабого, но все же ощутимого. Ее утроба, ее разум, этот дом… даже древнее озеро, где, как говорили, утопилось множество отвергнутых влюбленных, – все казалось пустым и высохшим. Все-все, кроме ее болезненной набухшей груди, из которой ручейками подтекало молоко.

Теперь, оставшись в комнате один на один с мужем, она ждала, что он заговорит. Бинназ хотелось услышать вовсе не извинение, а скорее признание того факта, что ей пришлось столкнуться с несправедливостью и невероятной болью, которую еще предстоит пережить. Но Харун тоже ничего не сказал.

Итак, малышку, рожденную в семье одного мужа и двух жен 6 января 1947 года в городе Ване, Жемчужине Востока, нарекли Лэйлой Афифой Камилой. Такими вот самонадеянными именами, высокопарными и однозначными. Как окажется позже, это было ошибкой. Ибо, несмотря на верное утверждение, что девочка носит в глазах ночь, как и полагается Лэйле, вскоре стало ясно, что дополнительные имена далеки от истины.

Она не была безупречна с самого начала, ее многочисленные недостатки бежали вместе с ней по жизни, словно подводные течения. В действительности девочка была ходячим воплощением недостатков, конечно с того момента, как научилась ходить. Что касается целомудрия, оно тоже не войдет у нее в привычку, как покажет время, однако в этом случае причина не в ней.

Ей предстояло стать Лэйлой Афифой Камилой, полной добродетели, кладезем достоинств. Однако спустя годы, когда она оказалась в Стамбуле, одинокая и обнищавшая, впервые увидела море и поразилась тому, как далеко тянется синева – до самого горизонта, заметила, что кудряшки в ее волосах распушаются на влажном воздухе, однажды утром проснулась в чужой постели с мужчиной, которого никогда раньше не видела, и ее грудь настолько отяжелела, что показалось, вдохнуть больше не удастся, она была продана в бордель, где ей приходилось ежедневно заниматься сексом с десятью или даже с пятнадцатью мужчинами в комнате, где на полу стояло зеленое пластиковое ведро для сбора воды, стекавшей с потолка после каж-

дого дождя… Спустя долгое время после всего этого пятеро самых близких друзей, одна-единственная вечная любовь и большое количество клиентов будут называть ее Текилой Лейлой.

Если мужчины спрашивали, а они делали это довольно часто, почему она упорно пишет не «Лэйла», а «Лейла», не хочет ли она тем самым придать себе больше европейского колорита и загадочности, она лишь смеялась в ответ и поясняла: мол, однажды она пошла на базар и выменяла «э» («экзотику») на «е» («естественность»), вот и весь секрет.

В итоге газетчикам, которые освещали ее убийство, не было до этого никакого дела. Большинство даже не пытались называть ее по имени, полагая, что инициалов достаточно. В большинстве статей помещалась одна и та же фотография – какой-то старый кадр, где Лейлу было почти не узнать, он был сделан когда-то в средних классах школы. Разумеется, редакторы могли бы выбрать снимок посвежее, пусть даже фото из архивов полиции, однако они опасались, что обильный макияж Лейлы, а также очевидная ложбинка между грудями могут оскорбить чувства нации.

Вечером 29 ноября 1990 года ее смерть также освещалась национальным телевидением. Эта информация прошла после длинного репортажа о Совете Безопасности ООН, который санкционировал военное вторжение в Ирак, о печальных последствиях ухода в отставку «железной леди» в Британии, о растущем напряжении между Грецией и Турцией, возникшем в результате насилия в Западной Фракии и разграбления магазинов, принадлежащих этническим туркам, а также взаимного изгнания консулов – турецкого из Комотини и греческого из Стамбула, а еще о слиянии западногерманской и восточногерманской футбольных команд после объединения этих двух стран, об отмене конституционного требования для замужних женщин получать разрешение мужа на работу вне дома, о запрете курения на рейсах «Турецких авиалиний», несмотря на горячий протест курильщиков по всему миру.

Ближе к концу программы по нижней части экрана прошла ярко-желтая бегущая строка: «Убитая проститутка была обнаружена в одном из мусорных контейнеров города – четвертая жертва за месяц. Среди стамбульских секс-работниц нарастает паника».

Две минуты

Спустя две минуты после того, как ее сердце перестало биться, мозг Лейлы припомнил два контрастных вкуса – лимон и сахар.

Июнь 1953 года. Она видела себя шестилетней девочкой с шевелюрой каштановых кудряшек, обрамлявших ее узкое бледное лицо. Пусть она испытывала зверский аппетит – особенно к фисташковой пахлаве, кунжутным козинакам и всему вкусненькому, – все равно тонка была как тростинка. Единственный ребенок. Одинокий ребенок. Неугомонная, подвижная и всегда немного рассеянная, она день за днем крутилась, словно шахматная фигурка, упавшая на пол, ей только и оставалось, что выстраивать какие-то сложные игры для себя самой.

Дом в Ване был настолько велик, что даже от шепота по нему прокатывалось эхо. На стенах, словно в пещере, танцевали тени. Длинный изгибистый лестничный колодец вел в гостиную и на площадку второго этажа. Вход украшала плитка, на которой было изображено множество сценок: павлины важно показывают свои хвосты, круги сыра и плетеные хлеба возле бокалов с вином, блюда с надрезанными гранатами, напоминающими рубиновые улыбки, и поля с подсолнухами, жадно наклоняющими свои головы в сторону солнца, словно влюбленные, которые знают: к ним никогда не будут относиться так трепетно, как им хочется. Эти картинки восхищали Лейлу. Некоторые плитки потрескались и облупились, другие частично покрывала грубая гипсовая штукатурка, однако разглядеть на них можно было очень многое, да еще и в ярких тонах. Девочка подозревала, что все вместе плитки в сочных красках рассказывают некую древнюю историю, однако, как ни старайся, понять ее невозможно.

По всей длине коридоров в позолоченных нишах стояли масляные лампы, сальные свечи, керамические чаши и прочие декоративные безделушки. Полы целиком устилали ковры с кисточками – афганские, персидские, курдские и турецкие, всех оттенков и со всевозможными узорами. Лейла без дела слонялась из комнаты в комнату, прижимая безделушки к груди и ощупывая их поверхности, словно была слепа и полностью зависела от осязания – этот объект колючий, этот гладкий и так далее. В некоторых частях дома было чересчур много вещей, но, как ни странно, даже в них, как ей казалось, чего-то не хватало. В главной гостиной били дедушкины часы с маятником, который болтался туда-сюда, их рокот казался чересчур громким, чересчур радостным. Часто Лейла замечала першение в горле, и ей становилось боязно, что она вдохнула давнюю пыль, хотя прекрасно знала, что каждая вещь в доме неукоснительно мылась, натиралась воском и полировалась. Домработница приходила ежедневно, а раз в неделю затевалась генеральная уборка. В начале и конце каждого сезона проводилась еще более тщательная уборка. А если что-то упускали, тетя Бинназ всегда замечала это и оттирала с содой, так как была крайне требовательна к тому, что называла «белее белого».

Мама объяснила ей, что раньше этот дом принадлежал армянскому врачу и его жене. У них было шесть дочерей, которые любили петь и обладали разными тембрами – от низкого до крайне высокого. Доктора очень любили в городе, и он порой позволял своим пациентам погостить в его доме. Твердо уверенный в том, что музыка способна излечить даже самые страшные раны человеческой души, он заставлял всех своих пациентов играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, пусть даже у них не было никаких музыкальных способностей. Пока они играли, а некоторые делали это очень скверно, дочери врача пели в унисон, и дом качало, словно плот в открытом море. Все это было до начала Первой мировой войны. Вскоре после нее обитатели дома вдруг пропали, оставив все вещи. Некоторое время Лейла не понимала, куда они девались и почему с тех пор не возвращались. Что случилось с ними – с врачом и его семьей и со всеми инструментами, которые когда-то были деревьями, высокими и мощными?

И тогда дед Харуна, Махмуд, влиятельный курдский *ага*, поселился в этом доме вместе со своим семейством. Дом стал наградой от османского правительства за то, что новый

хозяин сделал во время депортации армян. Решительно, твердо и без тени сомнения он следовал инструкциям из Стамбула. Если власти решали, что те или иные люди – предатели и их следует отправить в пустыню Дейр-эз-Зор, где лишь у немногих была надежда выжить, значит именно туда их и посылали, несмотря на то что они были добрыми соседями и старыми друзьями. Доказав таким образом свою преданность государству, Махмуд стал заметной личностью, местные восхищались идеальной симметрией его усов, блеском его черных сапог и величественным голосом. Его уважали так, как с незапамятных времен уважали власть имущих – со страхом и без тени любви.

Махмуд распорядился, чтобы всё в этом доме оставалось как было, и некоторое время этот указ действовал. Однако ходили слухи, что армяне, которые не могли унести ценности с собой, где-то неподалеку припрятали горшки с монетами и сундуки с рубинами. И вскоре Махмуд и его домашние принялись за раскопки – в саду, во дворе, в погребах – ни пяди земли не осталось без внимания. Поскольку ничего найдено не было, они принялись ломать стены, даже не думая о том, что если и удастся найти клад, то принадлежать он будет совсем не им. Когда в конце концов они бросили эту затею, дом превратился в груду обломков и его нужно было основательно перестраивать. Лейла знала, что ее отец, своими глазами наблюдавший за всем этим безумием, по-прежнему верил, что где-то все-таки припрятан ларец с золотом и совсем близко таятся несметные богатства. Иной раз по ночам, закрывая глаза и уплывая в сон, она видела драгоценности, сверкающие вдали, точно светлячки над летней поляной.

Не то чтобы Лейла сильно интересовалась деньгами в этом нежном возрасте. Куда важнее для нее было, что в кармане лежит шоколадная конфета с орехом или жвачка «Замбо», на обертке которой красовалась чернокожая женщина с огромными кольцами в ушах. Отец заказывал все эти вкусности в Стамбуле, и ей присылали их оттуда, издалека. Все новое и интересное происходит в Стамбуле, с завистью думала девочка, в городе чудес и редкостей. Однажды она непременно поедет туда, говорила себе Лейла. Но это обещание самой себе девочка хранила в тайне, словно устрица, скрывающая в своем сердце жемчужину.

Лейле нравилось устраивать куклам чаепития, наблюдать, как форель плещется в холодных речушках, и пристально-пристально вглядываться в узоры на коврах, пока они не «оживут». Однако больше всего Лейла любила танцевать. Она мечтала, что в один прекрасный день станет известной исполнительницей танца живота. Эта фантазия вызвала бы отвращение у ее отца, особенно если бы он знал, что она отчетливо представляла себе каждую деталь: переливающиеся пайетки, юбки из монеток, треск и лязганье напальчиковых тарелок, то, как она трясет и вращает бедрами под «тра-та-та» барабана-вазы – *дарбуки*, как завораживает публику, как люди начинают аплодировать в такт, а она, вертясь и кружась, приближается к восхитительному финалу танца. От самой мысли об этом ее сердце начинало биться чаще. Однако *баба́* всегда говорил, что танцы – одна из множества уловок шайтана, проверенная временем тактика сбивать людей с пути истинного. Дурманящими ароматами и блестящими безделушками дьявол сначала соблазняет женщин, таких слабых и чувствительных, а затем, через женщин, заманивает в свою ловушку мужчин.

Как весьма востребованный портной, *баба́* делал модные наряды для дам в стиле *алла франга* – пышные платья, платья-футляры, юбки-солнце, блузы с воротником «Питер Пэн», топы с бретельками через шею, брюки капри. Его регулярными заказчицами были жены военных офицеров, чиновников, пограничников, железнодорожных инженеров и торговцев специями. Он также продавал большой ассортимент шляпок, перчаток и беретов – стильных и приятных на ощупь работ, которые ни за что бы не позволил надеть членам своей семьи.

Из-за того что отец был против танцев, мама тоже возражала, хотя, как заметила Лейла, она могла изменить своим убеждениям, если никого рядом не было. Когда они оставались вдвоем, мама становилась совершенно иным человеком. Она позволяла Лейле расплетать, расчесывать и заплетать ее рыжие от хны волосы, толстым слоем намазывать исчезающий крем

на ее морщинистое лицо, наносить вазелиновое масло, смешанное с угольным порошком, ей на ресницы, чтобы они стали чернее. С дочерью она была щедра на похвалу и объятия, делала яркие помпоны из целой радуги цветов, нанизывала каштаны на кусочки лески и играла в карты – все это она ни за что не стала бы делать в присутствии других. И особенно сдержанной была она при тете Бинназ.

– Если тетя увидит, как мы развлекаемся, ей станет не по себе, – говорила мама. – Не нужно целовать меня, когда она рядом.

– Но почему?

– Ну, у нее никогда не было детей. Мы же не хотим ее расстраивать.

– Ничего, мамочка. Я могу поцеловать вас обеих.

Мама затягивалась сигаретой.

– Не забывай, душа моя, тетя не в своем уме. Как и ее мать – так я слышала. У них это в роду. Сумасшествие передается по наследству. Говорят, у них оно было в каждом поколении. Мы должны вести себя осторожно и не огорчать ее.

Когда тетя расстраивалась, она могла причинить вред самой себе. Она выдергивала пучки собственных волос, царапала себе лицо и щипала себя так, что текла кровь. Мама говорила, что в тот день, когда она родила Лейлу, тетя, которая ждала у двери, то ли от зависти, то ли еще по какой-то дурной причине ударила кулаком себе по лицу. Когда ее стали расспрашивать о мотивах, она заявила, что какой-то торговец абрикосами кидал в нее снежки через раскрытое окно. Абрикосы в январе! Полная бессмыслица. Все очень боялись за ее здравый ум. Эта история, как и многие другие, рассказывалась по нескольку раз и вызывала у ребенка одновременно интерес и ужас.

Но все же урон, который тетя наносила сама себе, не всегда казался намеренным. Во-первых, она была неуклюжей, словно малыш, делающий первые шаги. Обжигала пальцы о кастрюли, раскаленные докрасна, ударялась коленями о мебель, падала с кровати во сне, ранила руки о разбитое стекло. Все ее тело покрывали ужасные синяки, ожоги и красные шрамы.

Тетины эмоции болтались туда-сюда, словно маятник на дедушкиных часах. В некоторые дни она была полна энергии и без устали занималась то одним делом, то другим. Выбивала ковры так, словно кому-то мстила, водила тряпкой по всем поверхностям, вытирая пыль, кипятила белье, которое выстирала за день до этого, часами скребла полы, распыляя по всему дому отвратительно пахнувший дезинфектор. Ее потрескавшиеся руки были в ссадинах и никогда не мягчели, даже несмотря на то, что она регулярно натирала их овечьим жиром. Конечно, они будут шершавыми, если их мыть, как делала тетя, по сто раз на дню – она была убеждена, что руки недостаточно чистые. Да и все остальное, в общем, тоже. Иной раз тетя казалась такой измотанной, что с трудом двигалась. Даже дышать ей было тяжело.

А еще случались дни, когда тетя казалась самой беззаботной на свете. Раскованная и веселая, она часами играла с Лейлой в саду. Вместе они подвешивали на ветви яблонь, усыпанных цветами, полоски ткани, которые называли балеринами, неторопливо и с удовольствием плели маленькие корзиночки из ивы или венки из ромашек, обвязывали ленты вокруг рогов барана, которого собирались принести в жертву на следующий Курбан-байрам. Один раз они тайно перерезали веревку, что привязывала барана к сараю. Однако животное не пустилось бегом, как они планировали. Послонявшись туда-сюда в поисках свежей травы, баран вернулся на прежнее место, посчитав привычную неволю более надежной, чем странный зов свободы.

Тетя и Лейла любили превращать скатерти в платья и разглядывать женщин в журналах, повторяя их прямые позы и уверенные улыбки. Из всех моделей и актрис, которых они внимательно рассматривали, больше всех их восхищала Рита Хейворт. Ее ресницы напоминали стрелы, брови – луки, талия была тоньше чайного стакана, а кожа глаже шелковой пряжи. Эта

женщина могла бы удовлетворить искания любого османского поэта, но здесь была допущена маленькая ошибка: она родилась не в то время, да и слишком далеко – в Америке.

Им, конечно, было интересно узнать о жизни Риты Хейворт, однако они только и могли, что смотреть на фотографии, потому что ни одна из них не умела читать. Лейле еще предстояло пойти в школу, а тетя так и не училась ни в одной. В деревеньке, где выросла тетя Бинназ, школы не было, а ее папа не позволял ей вместе с братьями ходить каждый день по раскатанной дороге до города и обратно. У них не было обуви на всех, да и все равно ей нужно было следить за младшими братьями и сестрами.

В отличие от тети, мама была грамотна и очень этим гордилась. Она могла читать рецепты из поваренной книги, просматривать отрывной настенный календарь и даже читать заметки в газетах. Именно она сообщала им о событиях в мире: в Египте группа военных офицеров объявила государство республикой, в Америке казнили нескольких человек, обвиненных в шпионаже, в Восточной Германии тысячи людей вышли на марш протеста против политики правительства и были разбиты советскими оккупантами, а в Турции, в далеком Стамбуле, который казался совершенно иной страной, проводился конкурс красоты, и молодые женщины в купальниках ходили по подиуму. Религиозные группы вышли на улицы, объявляя передачу аморальной, однако организаторы не собирались сдаваться и продолжали конкурс. Нации становятся цивилизованными тремя основными путями – с помощью науки, образования и конкурсов красоты.

Стоило только Сюзан прочитать подобные новости вслух, Бинназ тут же отводила глаза. На ее левом виске начинала пульсировать венка – безмолвный, но неизменный сигнал душевного смятения. Лейла сочувствовала тете, находя нечто очень понятное и даже успокоительное в ее ранимости. Однако она прекрасно понимала, что в этом смысле скоро не сможет оказывать тете поддержку. Она с нетерпением ждала поступления в школу.

Примерно три месяца назад на самой вершине лестницы, за шкафчиком из кедра, Лейла обнаружила расшатанную дверцу, ведущую на крышу. Видимо, кто-то оставил ее приоткрытой, приглашая в дом прохладный бодрящий бриз, который нес с собой аромат черемши, росшей чуть дальше по дороге.

Стоило только поглядеть на раскинувшийся внизу город и навострить слух, чтобы уловить крик орла-карлика, кружащего над огромным озером, что блестит вдалеке, или клекот фламинго, обыскивающих отмели на предмет еды, – и Лейла ощущала полную уверенность в том, что, если постараться, она тоже сможет летать. Можно ли и вправду отрастить крылья и заскользить легко и беззаботно по небесам? В округе жило множество цапель, белоголовых уток, чернокрылых ходулочников, алокрылых вьюрков, тростниковых камышовок, белогорлых зимородков, султанок, которых местные так и называли «султанами». Аистиная пара завладела трубой и веточка за веточкой выстроила роскошное гнездо. Сейчас аисты улетели, но Лейла знала, что однажды они вернутся. Тетя говорила, что аисты не чета людям – они верны своим воспоминаниям. Раз уж выстроили где-то «дом», даже находясь за многие километры от него, все равно найдут дорогу и вернутся.

После каждого визита на крышу девочка на цыпочках спускалась вниз по лестнице, чтобы никто ее не увидел. Она не сомневалась: если мама поймает ее, быть беде.

Однако в тот июньский день 1953 года мама была слишком занята и не обращала на нее внимания. Дом был полон гостей, но только женщин. Это непременно случалось дважды в месяц – в день чтения Корана и в день удаления волос с ног. Если речь шла о первом, пожилой имам приходил в дом, чтобы произнести проповедь и прочитать отрывок из священной книги. В этом случае соседские женщины сидели тихо и с почтением слушали – их колени были прижаты друг к другу, головы покрыты и полны размышлений. Если слонявшиеся поблизости дети смели лишь пикнуть, на них тут же шикали.

Когда приходил день удаления волос, все было ровно наоборот. Мужчин поблизости не было, так что женщины надевали самые откровенные наряды. Они разваливались на диване, раздвигали ноги, обнажали руки, и глаза их светились сдержанным озорством. Беспрестанно болтая друг с другом, они приправляли свои фразы ругательствами, заставлявшими самых юных среди них краснеть, словно дамасские розы. Лейла не могла поверить, что эти безумные создания – те же самые люди, что сосредоточенно слушали имама.

Сегодня снова был день удаления волос. Сидевшие на коврах, ножных скамейках и стульях женщины заполнили каждый сантиметр гостиной, в руках они держали блюда с выпечкой и чашки с чаем. С кухни доносился приторный запах – там на плите пузырился воск. Лимон, сахар и вода. Когда смесь была готова, женщины принимались за работу и делали ее проворно и серьезно – они морщились, отдирая от кожи липкие полоски. Однако сейчас справляться с болью было еще рано – они сплетничали и лакомились от души.

Наблюдая за женщинами из коридора, Лейла тут же замерла, отыскивая в их движениях и общении некие намеки на собственное будущее. Тогда она была убеждена, что, когда вырастет, станет похожа на них. На ноге у нее будет висеть малыш, в руках лежать младенец, у нее будет муж, которого нужно слушаться, и дом, который придется содержать в порядке, – вот такой станет ее жизнь. Мама рассказывала ей, что, когда Лейла только родилась, повитуха закинула ее пуповину на крышу школы, чтобы девочка стала учительницей, однако *баба́* не слишком бы хотел для нее такой судьбы. Теперь уже не хотел. Некоторое время назад он познакомился с шейхом, который объяснил ему, что для женщины лучше оставаться дома, а если изредка и нужно выйти, она должна покрывать свое тело. Никто не хочет брать помидоры, которые щупали, сжимали или пачкали другие покупатели. Куда лучше, если все помидоры на рынке тщательно упакованы и их бережно хранят. То же и с женщинами, сказал шейх. Хиджаб – упаковка, доспехи, сберегающие от вызывающих взглядов и нежелательных прикосновений.

Поэтому мама и тетя начали покрывать голову – в отличие от других соседских женщин, которые изо всех сил старались следовать западной моде: делали начесы, завивку или убирали в элегантный узел на затылке, как Одри Хепбёрн. Мама предпочитала носить на улицу черную чадру, тетя же выбирала яркие шифоновые платки, туго завязывая их под подбородком. Обе старательно покрывались, чтобы из-под платков не виднелось ни пряди волос. Лейла не сомневалась, что в очень скором времени последует их примеру. Мама сказала: когда этот момент придет, они вдвоем отправятся на базар и купят ей самый красивый хиджаб и подходящий к нему длинный халат.

– А под ним можно будет носить костюм для танца живота?

– Глупышка, – с улыбкой ответила мама.

В задумчивости Лейла на цыпочках прошла мимо гостиной и отправилась на кухню. С самого утра там вкалывала мама – пекла бурек, заваривала чай и готовила воск. Лейла, хоть убей, не понимала, зачем намазывать эту сласть на волосатые ноги, если ее можно съесть, как, например, сделала бы она сама.

Войдя на кухню, она с удивлением обнаружила там другого человека. У рабочей поверхности в полном одиночестве стояла тетя Бинназ, сомкнув пальцы на рукоятке длинного зубчатого ножа, от лезвия которого отражался дневной солнечный свет. Лейла опасалась, что тетя порежется. А ей нужно было теперь соблюдать осторожность, поскольку она объявила, что снова ждет ребенка. Никто об этом не говорил, опасаясь *назара* – дурного глаза. Основываясь на прежнем опыте, Лейла предполагала, что в ближайшие месяцы тетина беременность станет более явной и окружающие ее взрослые будут делать вид, что растущий животик – результат чрезмерного аппетита или просто вздутие. Пока именно так и происходило каждый раз – чем больше полнела тетя, тем реже ее замечали. Словно она выцветала и блекла на глазах, как фотография, которую кто-то оставил на асфальте под злополучным солнцем.

Лейла сделала робкий шаг вперед и остановилась понаблюдать.

Тетя склонилась над чем-то похожим на пучок салата и, видимо, даже не замечала ее. Тетя пристально смотрела на газету, лежавшую на рабочей поверхности, и ее пронзительные глаза прямо-таки горели на фоне бледной кожи. Вздохнув, она схватила в руку зеленый салат и принялась ритмично шинковать его на разделочной доске, нож начал двигаться так быстро, что превратился в расплывчатое пятно.

– Тетя?

Ее рука замерла.

– Мм?

– На что ты смотришь?

– На солдат. Я слышала, они возвращаются.

Она указала на фотографию в газете, и на миг обе они замерли, глядя на заголовок под иллюстрацией, пытаясь что-то разобрать в черных точках и завитках, которые выстроились в ряд, словно батальон пехотинцев.

– О, значит, твой брат скоро вернется домой.

У тети был брат, оказавшийся среди пяти тысяч пехотинцев, которых отправили в Корею. Они помогали американцам – поддерживали хороших корейцев в борьбе с плохими корейцами. Если иметь в виду, что турецкие солдаты не говорят ни по-английски, ни по-корейски, а американские солдаты тоже не имеют понятия ни о каком другом языке, кроме своего собственного, то как им вообще удается общаться, удивлялась девочка. Все эти люди с ружьями и пистолетами – как они понимают друг друга, если не могут общаться? Однако в тот момент задавать такой вопрос не стоило. Вместо этого Лейла расплылась в широкой улыбке.

– Наверное, ты очень рада?

– С чего бы это? – Тетино лицо помрачнело. – Кто знает, когда я смогу его увидеть – и смогу ли? Прошло так много времени. Родители, братья и сестры… я их давно не видела. У них нет денег на поездки. Да и я не смогу к ним съездить. А я так скучаю по родным.

Лейла понятия не имела, что ответить. Девочка всегда предполагала, что родными тети были как раз таки они. Будучи покладистым ребенком, Лейла решила, что лучше сменить тему.

– Ты готовишь для гостей?

Произнося эти слова, Лейла пристально рассматривала горку порубленного салата на разделочной доске. Среди обрывков зеленого она заметила то, что заставило ее ахнуть: розовые земляные черви, некоторые разрезаны на две части, а прочие все еще извиваются.

– Бе-е-е! Что это?

– Это малышам. Они их обожают.

– Малышам? – У Лейлы внутри все опустилось.

Все это время мама была права: тетя больна на голову. Глаза ребенка скользнули вниз, к полу. Она заметила, что на тете нет обуви, что ее пятки потрескались и загрубели, словно, чтобы добраться сюда, ей пришлось идти несколько миль. Лейла призадумалась: может, тетя бродит во сне – каждую ночь уходит в шуршащую тьму, а под утро торопится домой и ее дыхание клубами вырывается в прохладный воздух? Может быть, она прокрадывается через садовую калитку, взбирается вверх по водосточной трубе, перепрыгивает через перила балкона и проскальзывает в свою спальню – и все это время ее глаза закрыты? А вдруг однажды она возьмет и не найдет дорогу домой?

Если бы у тети была привычка бродить по улицам во сне, *баба́* знал бы об этом. Жаль, что Лейла не может у него спросить. Наверняка это одна из тем, которые нельзя затрагивать. Ребенка мучил вопрос: почему, если они с мамой спят в одной комнате, тетя с папой живут в другой, наверху? Когда она спрашивала, почему так, мама поясняла, что тетя боится оставаться одна, потому что во сне сражается со своими демонами.

– Ты хочешь съесть их? – спросила Лейла. – После них тебе будет плохо.

– Я? Нет! Это для малышей, я же сказала. – Взгляд, которым наградила ее Бинназ, был столь же неожиданным, сколь неожиданно приземление божьей коровки тебе на палец. И столь же нежным. – Разве ты не видела их? Там, на крыше. Я думала, что ты постоянно ходишь туда.

Лейла с удивлением приподняла брови. Она даже и не подозревала, что тетя посещает ее тайное место. Но несмотря на это, беспокоиться не стала. В тете было нечто призрачное: она не обладала вещами, а просто проплывала сквозь них. Так или иначе, девочка была уверена, что на крыше нет никаких малышей.

– Ты мне не веришь? Считаешь меня сумасшедшей. Все считают меня сумасшедшей.

В голосе женщины было столько обиды, такая печаль заполонила ее глаза, что Лейла остолбенела. Устыдившись своих мыслей, она решила загладить вину:

– Это неправда. Я всегда верила тебе!

– Ты уверена? Верить кому-то – это очень серьезно. Если так, ты должна поддерживать этого человека, несмотря ни на что. Даже если другие говорят о нем плохое. Ты способна на такое?

Девочка кивнула, с удовольствием принимая вызов.

Тетя радостно улыбнулась:

– Тогда я расскажу тебе тайну, большую. Обещаешь никому не рассказывать?

– Обещаю! – тут же выпалила Лейла.

– Сюзан тебе не мать. – (Глаза у Лейлы округлились.) – Хочешь узнать, кто твоя настоящая мать? – (Молчание.) – Это я тебя родила. День был холодный, однако на улице один человек продавал сладкие абрикосы. Странно, да? Если узнают, что я рассказала тебе об этом, сразу отошлют меня назад в деревню, а может, запрут в сумасшедшем доме, и мы никогда больше не увидим друг друга. Понимаешь?

Девочка кивнула, лицо ее словно замерло.

– Хорошо. Значит, держи язык за зубами.

Тетя вернулась к работе, что-то напевая себе под нос. Пузырение в котле, болтовня женщин в гостиной, стук чайных ложек в бокалах… казалось, даже блеявший в саду баран стремился влиться в этот хор, выводя собственную мелодию.

– У меня идея, – вдруг произнесла тетя Бинназ. – Когда у нас тут в следующий раз будут гости, давай положим им в воск червей. Представь, как все эти женщины побегут прочь из дома – полуголые и с червями, приклеенными к ногам!

Тетя так сильно смеялась, что в глазах у нее стояли слезы. Ее качнуло назад, она споткнулась о корзину и перевернула ее, отчего лежавшие внутри картофелины покатились по полу влево и вправо.

Сама того не желая, Лейла расплылась в улыбке. Она попыталась расслабиться. Наверняка все это шутка. А что же еще? Никто в их семье не воспринимал тетю всерьез, так почему она должна это делать? Высказывания тети имели не больше веса, чем вздохи бабочки или капли росы на прохладной траве.

Здесь и сейчас Лейла решила забыть о том, что слышала. Без сомнения, именно так и надо поступить. Однако зерно сомнения все же запало в ее сознание. Часть ее существа стремилась открыть правду, к которой она, в общем, пока не была готова, а может, никогда не будет. Лейла против собственной воли ощущала, что между ними с тетей осталось нечто недосказанное, словно путаное сообщение на далеких радиоволнах, вереница слов, которую хоть и доставили, но разобрать ее никто не в силах.

Спустя полчаса Лейла уже сидела на своем обычном месте на крыше, держа в руке ложку с небольшим количеством воска, ее ноги свисали с края крыши, словно пара крупных сережек. Несмотря на то что дождя не было вот уже несколько недель, камни казались скользкими, и

двигаться приходилось аккуратно, ведь если упасть вниз, можно сломать что-нибудь, а если и не сломаешь, мамина расправа неминуема.

Прикончив угощение, которым она была поглощена так же, как канатоходец своим выступлением, Лейла мелкими шажками устремилась к дальнему краю крыши, куда отваживалась ходить очень редко. Остановившись на полпути и уже собираясь повернуть назад, она вдруг услышала какой-то звук, тихий и приглушенный, словно удары крыльев мотыльков о стекло фонарика. Затем звук стал слышнее. Тысяча мотыльков. Заинтересовавшись, она пошла на звук. И там, за стопкой ящиков, внутри большой проволочной клетки сидели голуби. Много, много голубей. По обе стороны клетки стояли плошки со свежей водой и едой. Газеты, расстеленные внизу, были испачканы пометом, но в остальном голуби казались очень даже чистыми. Кто-то хорошо заботился о них.

Рассмеявшись, девочка захлопала в ладоши. В ней вдруг поднялась волна нежности, лаская ее горло, словно пузырьки любимого напитка под названием *газоз*. Ей хотелось оберегать тетю, несмотря на все ее слабости, а может, даже благодаря им. Однако вскоре это настроение сменилось замешательством. Если тетя Бинназ не обманула с голубями, может, она и с другим не обманывает? А что, если она и вправду ее мама? У них ведь одинаковые прямые вздернутые носы, обе чихают, когда только просыпаются, словно страдают легкой аллергией на первые лучи дневного света. У них также есть общая странная привычка посвистывать, намазывая на тост джем или масло, и выплевывать виноградные косточки и кожицу помидора. Девочка попыталась припомнить, что еще у них есть общего, но мысли продолжали возвращаться к следующему: все эти годы она опасалась цыган, воровавших маленьких детей и превращавших их в пустоглазых попрошаек, но, возможно, следует куда больше опасаться того, что происходит в собственном доме. Возможно, именно домашние вырвали ее из маминых рук.

Впервые за все время Лейла сумела немного отступить и подумать о собственной семье как бы со стороны, однако от того, что она приметила, ей стало не по себе. Она всегда считала, что они нормальная семья, как и все прочие в этом мире. Теперь девочка начала сомневаться в этом. А вдруг они все же отличаются – в чем-то изначально не правы? Пока она еще не понимала, что детство заканчивается не переменами в организме и не пубертатом, а в тот момент, когда человек способен увидеть собственную жизнь глазами постороннего.

Лейла всполошилась. Она любила маму и не хотела думать о ней плохо. Любила она и *бабá*, хотя и побаивалась порой. Она печально размышляла над ситуацией, пытаясь успокоиться, обхватив себя руками и то и дело втягивая полные легкие воздуха. Лейла и не знала даже, во что ей теперь верить, в каком направлении двигаться, она словно заблудилась в лесу: тропки впереди метались туда-сюда и множились на глазах. Кому в ее семье можно верить: папе, маме или тете? Лейла огляделась по сторонам, словно в поисках ответа. Вроде бы все было по-прежнему. И в то же время с этого момента по-прежнему уже не будет.

Привкус лимона и сахара таял у нее на языке, да и чувства все смешались и спутались. Спустя годы она станет думать об этом моменте как о мгновении, когда впервые поняла, что кажущееся не всегда соответствует действительности. Ведь может же кислое скрываться под сладким, и наоборот, в каждом здравом уме есть частичка безумия, а из глубины больной души поблескивает крупица здравого смысла.

До этого дня она старалась не показывать свою любовь к маме в присутствии тети. А теперь и свою любовь к тете будет держать тайком от мамы. Лейла начала понимать, что нежные чувства всегда должны скрываться, что такое можно демонстрировать лишь при закрытых дверях, а после никогда не обсуждать. От взрослых она научилась только такой форме любви, и эта наука привела к печальным последствиям.

Три минуты

Прошло три минуты с того момента, как сердце Лейлы остановилось, и она припомнила кофе с кардамоном – крепкий, насыщенный и темный. Вкус, прочно связанный у нее с улицей борделей в Стамбуле. Довольно странно, что воспоминания о нем преследуют ее с самого детства. Впрочем, человеческая память напоминает ночного кутилу, который выпил лишнего: как ни старайся, она не может следовать по прямой. Ее болтает по беспорядочному лабиринту, и часто она движется головокружительными зигзагами, совершенно невосприимчивая к разуму и рискующая вовсе испариться.

И вот Лейла вспомнила сентябрь 1967 года. Тупиковая улочка у порта – до пристани в Каракёй рукой подать – поблизости от Золотого Рога, что раскинулся между рядами легальных борделей. Поблизости находилась армянская школа, греческая церковь, сефардская синагога, суфийская обитель, русская православная часовня – пережитки давно забытого прошлого. Когда-то этот район в прибрежной части города был процветающим, тут жили богатые левантские и еврейские общины, затем он стал средоточием банковского и корабельного дела Османской империи, а теперь здесь произошли перемены иного рода. По ветру передавались приглушенные сообщения, и деньги переходили из рук в руки, как только их получали.

Район вокруг порта был настолько людным, что пешеходам приходилось передвигаться бочком, словно крабам. Молодые женщины в мини-юбках ходили под ручку, водители улюлюкали из окон автомобилей, подручные из кофеен носились туда-сюда с чайными подносами, уставленными маленькими чашечками, туристы сгибались под тяжестью рюкзаков и глазели по сторонам, словно только что проснулись, мальчики-чистильщики бряцали щетками по медным ящикам, украшенным фотографиями актрис – скромными спереди и обнаженными сзади. Торговцы очищали соленые огурцы, выжимали из них свежий сок, жарили нут и перекрикивали друг друга, а тем временем автомобилисты бибикали что есть мочи без всякой на то причины. Запахи табака, пота, духов, жареной еды, а порой и марихуаны, пусть и нелегальной, смешивались с соленым морским воздухом.

Переулочки и закоулочки напоминали бумажные реки. Социалисты, коммунисты и анархисты обклеивали своими плакатами все стены, зазывая пролетариев и крестьян присоединиться к предстоящей революции. Тут и там плакаты были разрезаны и размалеваны крайне правыми лозунгами и символами – воющим волком в полумесяце. Уличные дворники с видавшими виды швабрами и усталыми взглядами убирали мусор, их силы подрывались осознанием того, что стоит им повернуться спиной к этому месту, как на него снова обрушится дождь из листовок.

В нескольких минутах ходьбы от порта, неподалеку от круто спускавшегося с горки проспекта, тянулась улица борделей. Железная калитка, нуждавшаяся в свежем слое краски, отделяла это место от внешнего мира. Перед ней стояли несколько полицейских на посменных восьмичасовых дежурствах. Некоторые из них демонстративно ненавидели свою работу, презирая это место с дурной репутацией и всех тех, кто на него ступал, – и женщин, и мужчин. В их грубом поведении читался немой упрек, они внимательно и неуклонно наблюдали за толпившимися возле калитки мужчинами: те стремились попасть внутрь, но в очередь становиться не хотели. При этом были полицейские, которые воспринимали эту работу как любую другую и день за днем просто делали то, что должны были, но встречались и такие, кто втайне завидовал клиентуре и мечтал поменяться с ними местами, пусть даже на несколько часов.

Бордель, в котором работала Лейла, был одним из самых старых в этом районе. У входа мигала одна-единственная флуоресцентная лампа. По мощности ее можно было сравнить с тысячей крохотных спичек, подхватывающих огонь и сгорающих одна за другой. В воздухе стоял запах дешевых духов, мебель была покрыта мощным известковым налетом, а потолки

усыпаны липкими коричневыми пятнами никотина и смол от постоянно висевшего здесь табачного дыма. По всей длине фундаментных стен расползлись замысловатые кружева трещин, таких же тонких, как сосудики в покрасневшем глазу. Под свесами крыши, прямо под окном у Лейлы, прилепилось пустое осиное гнездо, круглое, бумагообразное и таинственное. Спрятанная вселенная. То и дело Лейла испытывала потребность дотронуться до гнезда, вскрыть его, обнажив идеальную архитектуру, однако каждый раз она говорила себе, что не имеет права ломать то, что природа хотела видеть в целости и сохранности.

Для Лейлы это был уже второй по счету бордель на одной и той же улице. Первый публичный дом оказался таким невыносимым, что еще до истечения первого года работы она сделала то, что не осмелился бы сделать никто до и даже после нее: она собрала свои немногочисленные вещички, надела единственное приличное пальто и ушла искать приют в соседнем борделе. Эта новость разделила сообщество на два лагеря. Некоторые говорили, что ее нужно немедленно вернуть на прежнее место, иначе все «дочурки» примутся поступать так же, нарушая неписаный кодекс профессии, а значит, весь бизнес полетит в тартарары. Другие считали, что, по совести, если человек впал в такое отчаяние, что стал искать убежища, значит ему нужно его предоставить. В конце концов хозяйка второго борделя, воодушевившись не столько отвагой Лейлы, сколько перспективой притока деньжат, которые придут вместе с ней, прониклась к девушке симпатией и приняла у себя как родную. Правда, перед этим хозяйке пришлось уплатить кругленькую сумму своей коллеге, принеся самые искренние извинения и пообещав, что больше такого не повторится.

Новая хозяйка обладала пышными формами, решительной походкой и нарумяненными щеками, которые висели, словно куски растянутой телячьей кожи. Любого мужчину, входившего к ней в бордель, она стремилась назвать «мой паша», даже если этот клиент не был постоянным. Раз в несколько недель она посещала парикмахерскую под названием «Сеченые концы», где ее красили в разные блондинистые оттенки. Широко посаженные глаза навыкате придавали лицу хозяйки выражение постоянного удивления, хотя на самом деле удивлялась она редко. Паутинка лопнувших капилляров расходилась от самого кончика ее мощного носа, словно ручьи, спускавшиеся с вершины горы. Никто не знал ее настоящего имени. И проститутки, и клиенты в глаза называли ее Милая Ма, а за глаза – Гадкая Ма. Она была обычной хозяйкой борделя, однако всегда и все делала через край – много курила, часто сквернословила и кричала, да и просто ее было слишком много – прямо-таки максимальная доза.

– Нас основали давно, еще в девятнадцатом веке, – любила подчеркнуть Гадкая Ма с гордым переливом в голосе. – И не кто-то, а сам великий султан Абдул-Азиз.

Она даже держала портрет султана в рамке над своим столом, пока в один прекрасный день клиент с ультранационалистическими наклонностями не устроил ей за это выволочку. Этот человек непрозрачно намекнул: мол, хватит молоть чепуху о наших благородных предках и славном прошлом.

– Зачем было бы султану, завоевателю трех континентов и пяти морей, давать позволение на открытие грязного притона в Стамбуле? – потребовал он ответа.

– Ну, я думаю, потому что… – стала заикаться Гадкая Ма, скручивая в руках носовой платок.

– Кому какое дело, что ты думаешь? Ты, что ли, историк или кто?!

Гадкая Ма приподняла свои свежевыщипанные брови.

– А может, вообще профессор! – усмехнулся мужчина.

Плечи Гадкой Ма поникли.

– Невежественная женщина не имеет права извращать историю, – уже без смеха произнес мужчина. – Давай-ка по порядку. В Османской империи не было легальных борделей. Если дамочки и хотели заниматься своим ремеслом втихую, это наверняка были христианки, или еврейки, или дикие цыганки. Потому что, поверь, ни одна нормальная мусульманка не согла-

силась бы на такую безнравственность. Они скорее умерли бы с голоду, чем согласились бы торговать собой. До сегодняшнего дня, конечно. Современность – бесстыдные времена!

После этой лекции Гадкая Ма тихонько сняла портрет султана Абдул-Азиза и повесила вместо него натюрморт с желтыми нарциссами и цитрусовыми. Однако вторая картина оказалась меньше первой, а потому на стене остался след от рамы, в которую был вставлен портрет султана, – тонкий и бледный, словно карта, начерченная на песке.

Что же до клиента, когда он появился во второй раз, хозяйка борделя приняла его с распростертыми объятиями, поклонами и улыбками и предложила чудную цыпочку, которую ему чрезвычайно повезло не упустить.

– Она уходит от нас, мой паша. Завтра утром возвращается в свою деревню. Этой девушке удалось-таки покрыть свои долги. Что тут поделаешь? Говорит, она проведет всю оставшуюся жизнь в раскаянии. «Ты молодец, – сказала я ей. – Помолись тогда и за всех нас».

Это было ложью, причем весьма бесстыдной. Женщина, о которой шла речь, действительно уходила, но по совершенно иной причине. В свой последний визит в клинику она сдала анализы на гонорею и сифилис – и оба оказались положительными. Работать ей запретили – она должна была находиться вне стен заведения, пока полностью не справится с инфекцией. Гадкая Ма не упомянула об этой небольшой детали, а просто взяла у мужчины деньги и положила их в ящик. Она не забыла, как грубо поступил с ней этот клиент. Никто не должен говорить с ней подобным образом, тем более при подчиненных. Ибо, в отличие от Стамбула, города умышленной амнезии, хозяйка запоминала любую обиду и мстила при первой же возможности.

Внутри борделя все краски были тусклыми: бездушный коричневый, затхлый желтый и невзрачный зеленый – цвет вчерашнего супа. Гадкая Ма включала огни – вереницу голых лампочек в оттенках индиго, малинового, сиреневого и рубинового – с того момента, когда вечерний *азан* начинал разноситься над свинцовыми сводами и перегибистыми крышами; вся округа принималась купаться в очень странном свете, словно свой поцелуй тут оставила слабоумная пикси.

Рядом с входом красовалась большая, написанная от руки табличка – первое, что видел посетитель, переступая порог. Она гласила:

ГРАЖДАНИН!

Если вы желаете защитить себя от сифилиса и других болезней, распространяющихся половым путем, вам нужно сделать следующее:

1. Прежде чем отправиться в комнату с женщиной, попросите у нее карту здоровья. Проверьте, здорова ли она.

2. Используйте защиту. Она должна быть новая каждый раз. Защита у нас недорогая: спросите у хозяйки, и она предложит ее вам по справедливой цене.

3. Если вы подозреваете, что подхватили какую-то болезнь, не медлите – сразу отправляйтесь к врачу.

4. Болезни, передающиеся половым путем, можно предотвратить, если тщательно защищать себя и СВОЮ НАЦИЮ!

Рабочие часы длились с десяти утра до одиннадцати ночи. Дважды в день у Лейлы был перерыв на кофе – полчаса днем и пятнадцать минут вечером. Гадкая Ма не одобряла простои по вечерам, но Лейла не сдавалась, объясняя, что, не получая своей ежедневной дозы кофе с кардамоном, она страдает от ужасной мигрени.

Каждое утро после открытия дверей женщины занимали свои места на деревянных стульях и низких табуретах за стеклянными панелями у входа. Недавно попавших на работу в бордель от всех прочих отличала манера держаться. Новенькие часто сидели, положив руки на

колени, и взгляд у них был отсутствующий, в никуда, словно у лунатика, который только что проснулся неизвестно где. Те, кто уже проработал некоторое время, передвигались из одного конца комнаты в другой, вычищали грязь из-под ногтей, чесали там, где чесалось, обмахивались чем-нибудь, рассматривали себя в зеркальце, плели друг другу косы. Не испытывая ни малейшего страха, они безразлично наблюдали за проходящими мимо мужчинами, которые сбивались группками, парами или двигались поодиночке.

Несколько женщин предложили вышивать или учиться вязать, чтобы скоротать долгие часы ожидания, но Гадкая Ма ни о чем таком и слушать не желала.

– Вязание! Что за дурацкая идея! Вы хотите напомнить этим мужчинам об их скучных женах? Или еще хуже – о матерях? Разумеется, нет. Мы предлагаем то, чего дома они не видели, а не то же самое.

Поскольку в этом тупичке бордель был одним из четырнадцати выстроившихся в линейку заведений, у клиентов имелся большой выбор. Они бродили туда-сюда, останавливались и с вожделением разглядывали, курили и размышляли, взвешивали свои возможности. Если им нужно было поразмышлять еще, они навещали уличных торговцев – выпивали по стаканчику рассольного сока или съедали *керхане татлысы*, выпечку, известную под названием «сладость публичного дома». По опыту Лейла уже знала: если мужчина не принял решение в течение первых трех минут, он его уже и не примет. Через три минуты его внимание переключится на кого-то еще.

Большинство проституток никогда не зазывали клиентов, считая, что вполне достаточно время от времени посылать воздушные поцелуи, подмигивать, демонстрировать глубокий вырез или снимать одну ногу с другой. Гадкая Ма не одобряла, если ее девушки слишком явно демонстрировали стремление заполучить клиента. Она говорила, что это понижает их ценность. Но и слишком холодными они быть не должны, чтобы не создавалось впечатление неуверенности в собственном качестве. Нужен был «изысканный и тонкий баланс». Сама Гадкая Ма вряд ли обладала способностью к балансу, однако от своих подчиненных всегда требовала того, чего самой ей чрезвычайно не хватало.

Комната Лейлы находилась на втором этаже – первая справа. «Лучшее место в доме», – говорили все. Не из-за какой-то там роскоши и вида на Босфор, а потому, что в неприятной ситуации внизу было все слышно. Хуже всего были комнаты в другом конце коридора. Даже если орать во всю глотку, на помощь никто не прибежит.

Перед своей дверью Лейла положила коврик в форме полумесяца, о который мужчины вытирали ноги. Обставлена комната была скудно: ее бóльшую часть занимала двуспальная кровать, застеленная покрывалом с цветочным рисунком и с таким же оборчатым балдахином. Рядом стоял комод с запертым ящичком, где Лейла хранила письма и различные вещички, которые пусть и не были дорогими, но представляли для нее особую ценность. Занавески, ветхие и выцветшие на солнце, были цвета разрезанного арбуза, а те черные точки, что напоминали косточки, на самом деле были следами от сигарет. В одном углу находилась треснутая мойка и газовая плитка, на ней не слишком прочно стояла *джезва*, а рядом с плиткой – тапочки из синего бархата с атласными розочками и мысками, отделанными бисером. Эти тапочки были самой красивой ее вещью. К противоположной стене жался платяной шкаф орехового дерева, который как следует не закрывался. Внутри, под висевшей на плечиках одеждой, лежали стопка журналов, коробка из-под печенья, наполненная презервативами, и пропахшее плесенью одеяло, давным-давно не употреблявшееся. На противоположной стене висело зеркало, под его раму были подсунуты открытки: Брижит Бардо, курящая тонкую сигарету, Ракель Уэлч в бикини с анималистическим принтом, «Битлз» и их белокурые подружки, сидящие на ковре вместе с индийским йогом, и пейзажи – какая-то река в центре большого города, сверкающая в лучах утреннего солнца, чуть присыпанная снежком площадь в стиле барокко, бульвар,

украшенный ночными огнями. Лейла ни разу в жизни там не бывала, но очень хотела посетить однажды Берлин, Лондон, Париж, Амстердам, Рим, Токио…

Комната была удачной во многих смыслах и отражала статус Лейлы. Большинству девушек досталось еще меньше комфорта. Гадкая Ма любила Лейлу – отчасти за ее честность и трудолюбие, отчасти из-за того, что поразительно напоминала сестру хозяйки, которую та оставила на Балканах несколько десятков лет назад.

Лейла попала на эту улицу, когда ей было семнадцать. В первый бордель ее продали мужчина и женщина, пара прохиндеев, хорошо известная полиции. Прошло всего три года, однако казалось, что она уже в другой жизни. Лейла никогда не вспоминала те дни, да и причину своего бегства из дома, а также то, как она приехала в Стамбул, не имея понятия, где остановиться, и всего с пятью лирами и двадцатью курушами. Память ее была своего рода кладбищем – там были похоронены отрезки ее жизни, они лежали в отдельных могилах, и у Лейлы не было ни малейшего желания оживлять их.

Первые месяцы на улице были невероятно мрачными, эти дни, словно веревка, тянули ее к отчаянию, и несколько раз она всерьез подумывала о самоубийстве. Быстрая и тихая смерть – почему бы и нет? Тогда ее нервировала каждая мелочь, каждый звук был для ее ушей словно раскат грома. Даже после переезда в немного более безопасный дом Гадкой Ма Лейла не была уверена, что сможет продолжать в том же духе. Вонь из туалетов, мышиный помет на кухне, тараканы в подвале, язвы во рту клиента, бородавки на руках других проституток, пятна от еды на блузке хозяйки, мухи, носящиеся туда-сюда, – от всего этого у нее постоянно возникал зуд. Ночью, положив голову на подушку, она улавливала в воздухе слабый медянистый запах, который, как догадалась позднее, был запахом разлагающейся плоти. Лейла опасалась, что он задерживается у нее под ногтями, проникает ей в кровь. Она была уверена, что заразилась какой-то ужасной болезнью. Невидимые паразиты ползали по ней и внутри ее. В местном хамаме, который проститутки посещали раз в неделю, она мылась и терлась до красноты, а по возвращении кипятила постельное белье. Но толку не было. Паразиты возвращались снова и снова.

– Возможно, это «сихология», – предположила Гадкая Ма. – Я с таким уже сталкивалась. Слушай, у меня тут чисто. Если не нравится, возвращайся к прежней хозяйке. Но говорю тебе, это все у тебя в голове. Скажи, твоя мама тоже была помешана на гигиене?

От этих слов Лейла замерла. И перестала чесаться. О чем она совершенно не хотела вспоминать, так это о тете Бинназ и огромном одиноком доме в Ване.

Единственное окно в комнате Лейлы выходило на маленький дворик с одинокой березой, позади которого стояло полуразрушенное здание; в доме не было ничего, кроме мебельной мастерской на первом этаже. В ней по тринадцать часов в день как проклятые вкалывали человек пятьдесят мужчин, вдыхая пыль, лак и другие химикаты. Половина были нелегальными иммигрантами. И страховки ни у кого из них не было. Большинство не достигло и двадцати пяти лет. На такой работе долго не протянешь. Испарения от смол разрушали их легкие.

За рабочими присматривал бородатый бригадир, который редко разговаривал и никогда не улыбался. По пятницам, когда он уходил в мечеть с *такке* на голове и четками в руке, рабочие открывали окна и высовывались в надежде приметить проституток. Увидеть им удавалось немного, так как занавески в борделе почти все время были задернуты. Но они не сдавались, стремясь хоть краем глаза ухватить изгиб бедра или обнаженную ляжку. Они усмехались, хвастаясь друг перед другом тем или иным соблазнительным наблюдением, пыль, покрывавшая их с ног до головы, наделяла их морщинами и серебрила волосы, отчего они не то чтобы выглядели стариками, но становились какими-то призраками, застрявшими между двумя мирами. Женщины из дома напротив в основном оставались равнодушны, но порой кто-нибудь из них,

то ли из любопытства, то ли от жалости, внезапно возникал у окна, опирался на подоконник так, чтобы видна была грудь, и тихо курил, пока сигарета не прогорала совсем.

Несколько рабочих были с хорошими голосами и с удовольствием пели, постоянно меняя солиста. В мире, который они не очень понимали и в котором не могли найти своего места, только музыкой можно было наслаждаться совершенно бесплатно. Так что пели они много и страстно. На курдском, турецком, арабском, фарси, пушту, грузинском, черкесском и белуджском они выводили серенады женщинам, чьи фигуры виднелись в окнах, чьи силуэты скрывались в тайне – скорее тени, чем тела.

Как-то раз, тронутая красотой одного из голосов, Лейла, всегда державшая занавески плотно задернутыми, раздвинула их и поглядела на мебельную мастерскую. Она увидела молодого человека, который, выводя самую грустную балладу, какую ей доводилось слышать, о сбежавших возлюбленных, что потерялись во время наводнения, пристально смотрел прямо на нее. У певца были миндалевидные глаза цвета вороненого железа, выступающий и явно расщепленный подбородок. Лейлу особенно поразила нежность его взгляда. И в этом взгляде не было ни тени похоти. Он улыбнулся ей, обнажив ряд идеальных белых зубов, и она, сама того не желая, улыбнулась в ответ. Город не уставал удивлять ее – самые невинные моменты подкарауливали в невероятно мрачных местах, моменты настолько призрачные, что едва она успевала отметить их чистоту, как они уже пролетали мимо.

– Как тебя зовут? – спросил он, пытаясь перекричать ветер.

Она ответила.

– А тебя?

– Меня? У меня пока нет имени.

– Имя есть у всех.

– Что ж, верно… но свое я не люблю. Так что пока называй меня Хич – Ничто.

Когда в следующую пятницу Лейла снова выглянула в окно, молодого человека уже не было в мастерской. Не было его и спустя неделю. И она предположила, что он ушел навсегда, этот незнакомец, состоявший из головы и половины торса в обрамлении окна, словно картина из другого века или продукт чужого воображения.

Впрочем, Стамбул не уставал поражать Лейлу. Ровно через год она снова встретила незнакомца – совершенно случайно. Правда, на этот раз Ничто оказался женщиной.

К тому моменту Гадкая Ма начала отправлять ее к своим самым уважаемым клиентам. Хотя бордель был разрешен государством и все операции, производимые в нем, были легальными, то, что происходило за его стенами, под лицензию не подпадало, а потому не облагалось никакими налогами. Ввязываясь в такие дела, Гадкая Ма серьезно рисковала, но прибыль была значительной. Если бы ее поймали, ей грозило бы уголовное преследование и, возможно, тюремный срок. Однако она доверяла Лейле, зная, что, даже если ее схватят, она не расскажет полиции, на кого работает.

– Ты ведь молчунья, верно? Умничка!

Однажды полиция устроила рейд в нескольких десятках ночных клубов, баров и кафе по обе стороны Босфора, где разрешена продажа выпивки навынос, и арестовала множество несовершеннолетних, наркоманов и работников секс-индустрии. Лейла оказалась в камере вместе с высокой, хорошо сложенной женщиной, которая, представившись именем Налан, уселась в углу и принялась рассеянно напевать себе под нос и выстукивать по стене какой-то ритм своими длинными ногтями.

Наверное, Лейла ни за что не узнала бы ее, если бы не эта знакомая песня – та самая баллада. Ей стало очень любопытно, и она принялась присматриваться к женщине – отметила ее яркие и добрые карие глаза, квадратный расщепленный подбородок.

– Ничто? – пораженно ахнув, спросила Лейла. – Ты помнишь меня?

Женщина склонила голову набок, и на мгновение выражение ее лица стало совершенно нечитаемым. Затем ее лицо озарила обворожительная улыбка, она подскочила, чуть было не ударившись головой о низкий потолок:

– Ты та девушка из борделя! Что ты здесь делаешь?

Той ночью в участке ни одна из них не смогла заснуть на матрасе с грязными пятнами – они говорили сначала во тьме, а потом в предрассветных сумерках, не давая друг другу скучать. Налан объяснила, что тогда, в момент их первой встречи, она лишь временно работала в мебельной мастерской, копила деньги на операцию по перемене пола, которая оказалась намного тяжелее и дороже, чем она ожидала, а ее пластический хирург – полным козлом. Но она старалась не жаловаться или хотя бы жаловаться не так сильно, потому что – черт возьми! – она стремилась пройти через все это. Всю жизнь ей приходилось мучиться в теле, которое было столь же незнакомым, как слово из чужого языка. Она родилась в зажиточной семье фермеров и овцеводов в Центральной Анатолии, однако ей пришлось приехать в этот город, чтобы исправить ошибку, так беззастенчиво совершенную Всемогущим Богом.

Утром, несмотря на боль в спине от сидения ночь напролет и тяжесть в ногах – они теперь казались прямо-таки бревнами, – Лейла чувствовала себя так, словно с души свалился какой-то груз, – она совершенно забыла ощущение легкости, которое теперь наполняло все ее существо.

Как только их выпустили, женщины отправились в буречную – обеим срочно требовался чай. Одна чашка чая превратилась в целую вереницу. С тех пор они все время держали связь, регулярно встречаясь в этой буречной. Даже будучи порознь, они понимали, что им всегда есть о чем поговорить, поэтому начали переписываться. Налан часто отправляла Лейле открытки с корявыми надписями, сделанными шариковой ручкой, со множеством орфографических ошибок, зато Лейла предпочитала бумагу для записей и перьевую ручку – ее почерк всегда оставался четким и аккуратным, как много лет назад ее научили в ванской школе.

Порой она откладывала ручку и вспоминала о тете Бинназ, о том, какой ужас та испытывала перед алфавитом. Несколько раз Лейла писала домой, но ни разу не получила ответа. Она задавалась вопросом, что они делают с ее письмами: держат в каком-нибудь ящике, подальше от любопытных глаз или сразу же рвут? Может, почтальон отсылает их назад? И если да, то куда? Наверняка есть какое-то место, некий загадочный адрес для писем, которые никто не ждет и даже не читает.

Налан жила в сырой квартире в цокольном этаже на Казанджи-Йокушу, неподалеку от площади Таксим, там были косые половицы, кривые оконные рамы и неровные стены. Квартира была обустроена до того странно, что, видимо, автором ее был какой-то обколотый архитектор. Жила она там с четырьмя другими женщинами-транссексуалками и двумя черепашками – Тутти и Фрутти, – различать которых удавалось только ей самой. Во время сильного дождя каждый раз создавалось ощущение, что трубы лопнут, а туалеты затопит, но, к счастью, как отмечала Налан, Тутти и Фрутти прекрасно плавали.

Ничто вряд ли было подходящим прозвищем для такой напористой женщины, как Налан, а потому вместо этого Лейла решила звать ее Ностальгией – не из-за того, что Налан тосковала по прошлому, которое она так явно не любила, а потому, что в этом городе она страшно скучала по дому. Она скучала по природе и ее изобильным ароматам, мечтала заснуть прямо на улице под бескрайним небом. Там бы ей не пришлось все время оборачиваться и кого-то остерегаться.

Пылкая и смелая, беспощадная к врагам и верная близким – это Ностальгия Налан, самая бесстрашная подруга Лейлы.

Ностальгия Налан – первая из пяти.

История Налан

Когда-то – и это продолжалось довольно долго – Налан звался Османом, младшим сыном фермерской семьи из Анатолии. Дни его были полны пьянящим ароматом свежевспаханной земли и диких трав, а также тяжелым трудом: он пахал поля, растил цыплят, заботился о дойных коровах, помогал пчелам пережить зиму… Пчеле нужно работать всю свою короткую жизнь, чтобы сделать мед, который уместится на краешке чайной ложки. Осман часто задумывался, что́ ему удастся сделать за свою жизнь, – этот вопрос одновременно восхищал и пугал его до глубины души. За городом ночь наступает рано. Во тьме, как только его братья и сестры засыпали, Осман садился на кровати возле керосиновой лампы. Медленно сгибая кисти рук то так, то этак под мелодию, которую слышал лишь он один, мальчик заставлял тени плясать по противоположной стене. В историях, им придуманных, Осману всегда доставалась главная роль – персидской поэтессы, китайской принцессы или русской императрицы, герои разительно менялись, но неизменным было одно: в собственном сознании он всегда был девочкой, а не мальчиком.

В школе все было совершенно иначе. В классе не оставалось места для сказок. Там царили правила и повторение. Осман с трудом писал некоторые слова, тяжело запоминал стихи и читал молитвы на арабском, ему приходилось нагонять других детей. Учитель, суровый и мрачный человек, шагавший туда-сюда с деревянной линейкой, которую пускал в ход, если кто-то из учеников плохо себя вел, раздражался на Османа.

Каждый семестр, когда разыгрывали патриотические пьесы, отличники дрались за роли героических турецких военных, всем же остальным приходилось быть греческой армией. Впрочем, Осман не возражал против роли греческого солдата, ведь нужно было всего-навсего быстро «погибнуть» и лежать себе на полу всю оставшуюся пьесу. Однако против ежедневных издевательств он возражал еще как. Началось все с того, что один парнишка увидел его босым и заметил накрашенные ногти на ногах. «Осман – тютя!» Стоит лишь раз заработать такой ярлык, и каждое утро будешь входить в класс, словно с мишенью на лбу.

Имея деньги и недвижимость, его родители могли бы послать своих детей в школу получше, однако отец не доверял большим городам и тамошним жителям, а потому предпочитал, чтобы дети учились обрабатывать землю. Осман знал названия трав и растений так, как его ровесники в городах знали имена поп-исполнителей и звезд кино. Жизнь была предсказуемой и размеренной, надежной цепью причин и следствий: расположение духа зависело от количества заработанных денег, деньги зависели от урожая, урожаи зависели от сезона, а сезоны – от воли Аллаха, а уж Он ни от кого не зависел. Вырваться из этого круга Осману удалось, только когда он уехал на обязательную службу в армии. Там он научился чистить ружье, заряжать пистолет, рыть траншеи, бросать гранаты с крыши дома и очень надеялся, что эти умения больше ему не пригодятся. Каждую ночь в спальном помещении, которое он делил с сорока тремя другими солдатами, ему ужасно хотелось снова поиграть с тенями, однако там не было не только свободной стены, но и чарующей масляной лампы.

Вернувшись, Осман обнаружил, что его семья живет по-прежнему. Только вот он прежним уже не был. Он всегда знал, что в душе он женского рода, но – странное дело – армейские испытания сплющили его душу настолько, что он осмелел и решил жить по-своему. По иронии судьбы, в этот самый момент его мама решила, что ему пора жениться и подарить ей внуков, коих у нее было уже множество. И, несмотря на возражения Османа, она принялась искать ему подходящую жену.

В ночь свадьбы, пока гости аплодировали в такт барабанам, а юная невеста в полурасстегнутом платье ждала его наверху, Осман просто-напросто улизнул. Над головой у него раздавались уханье филина и вопли авдотки – звуки, знакомые ему чуть ли не лучше звуков собствен-

ного дыхания. Он отшагал двенадцать миль до ближайшей станции и запрыгнул в первый же поезд до Стамбула; возвращаться он не планировал. Сначала он спал на улице и работал массажистом в хамаме с дурной репутацией и без всякой гигиены. Вскоре после этого начал мыть туалеты на вокзале Хайдарпаша. Именно на этой работе Осман по большей части сформировал свои взгляды в отношении собратьев. Никто не имеет права рассуждать о природе человечества, не проработав нескольких недель в общественном туалете и не увидев то, что люди делают лишь потому, что могут: ломают водяной шланг на стене, отрывают дверные ручки, рисуют повсюду разные гадости, мочатся на полотенца для рук, разбрасывают по кабинкам грязь и всякую пакость. Все это они делают, прекрасно понимая, что кому-то придется это убирать.

Он не таким представлял себе этот город, и не с такими людьми ему хотелось бы делить все его улицы и переулки. Но только здесь, в Стамбуле, он мог открыто превратиться в человека, которым чувствовал себя внутри, так что он твердо решил удержаться.

Османа больше не было. Осталась лишь Налан, и уже ничего нельзя было вернуть.

Четыре минуты

Спустя четыре минуты после того, как ее сердце перестало биться, в сознании Лейлы всплыло мимолетное воспоминание, принесшее с собой запах и вкус арбуза.

Август 1953 года. Самое жаркое лето за несколько десятилетий, как говорила мама. Лейла размышляла о том, что такое десятилетие: долго ли это? Понимание времени ускользало, словно шелковые ленты сквозь пальцы. За месяц до этого завершилась корейская война, и брат тети невредимым вернулся в свою деревню. Теперь у тети были другие причины для волнения. В отличие от предыдущей, эта беременность, казалось, протекала нормально, если не считать, что ее тошнило и днем и ночью. Охваченная жуткими приступами рвоты, тетя с трудом удерживала пищу в своем желудке. Жара радости не прибавляла. *Баба́* предложил всем отправиться в отпуск. Куда-нибудь к Средиземному морю, на свежий воздух. Еще он пригласил своих брата и сестру вместе с их семействами.

Набившись в микроавтобус, они поехали в рыбацкий городок на юго-восточном побережье. Всего набралось двенадцать человек. Дядя, сидевший рядом с водителем, рассказывал смешные истории из своей студенческой жизни, а по его лицу радостно мелькали солнечные блики; когда истории закончились, он принялся петь патриотические гимны, заставляя всех подпевать. Даже *баба́* присоединился к нему.

Дядя был подтянутым высоким человеком с очень короткими волосами и сине-серыми глазами, обрамленными длинными, загнутыми на концах ресницами. Он был красавцем – так говорили все. Этот комплимент дядя слышал всю свою жизнь, что отразилось на его поведении. В нем была легкость, которой явно недоставало другим членам семьи.

– Смотрите же, великое семейство Акарсу пустилось в путь! Из нас получилась бы футбольная команда, – говорил дядя.

Лейла, сидевшая вместе с мамой на заднем сиденье, воскликнула:

– В команде одиннадцать человек, а не двенадцать!

– Разве? – удивился дядя, поглядев на нее через плечо. – Тогда мы будем игроками, а ты менеджером. Командуй нами, заставляй нас выполнять твои желания. Мы к вашим услугам, мадам.

Лейла просияла, радуясь возможности немножко побыть боссом. На протяжении всей поездки дядя с радостью подыгрывал ей. На каждой остановке он открывал ей дверцу, приносил питье, печенье, а после вечернего дождя перенес ее через лужу на дороге, чтобы она не намочила и не испачкала ноги.

– Она футбольный менеджер или царица Савская? – спросил *баба́*, наблюдая за ними со стороны.

– Она менеджер футбольной команды и царица моего сердца, – ответил дядя.

И все улыбнулись.

Ехали они долго и медленно. Водитель курил самокрутку, и его обволакивал тонкий дымок, выводя нечитаемые прописные сообщения у него над головой. На улице шпарило солнце. В автобусе воздух казался спертым и затхлым. Лейла подложила руки себе под ляжки, чтобы раскаленный винил не прожег ей ноги, но спустя некоторое время устала и убрала руки. Она жалела, что вместо коротких шортиков не надела длинное платье или просторные шаровары. К счастью, она не забыла соломенную шляпку с ярко-красными вишенками на боку, они выглядели чрезвычайно аппетитно.

– Давай поменяемся шляпами, – предложил дядя.

На нем была узкополая белая шляпа с продольной вмятиной, которая очень шла ему, хотя носить ее было не так удобно.

– Да, давай!

Когда спустилась тьма, Лейла в своей новой шляпе через окно вглядывалась в размытое пятно шоссе, в огни проезжавших мимо машин, напоминавшие серебристые вязковатые следы, которые оставляют в саду улитки. За пределами шоссе светились фонари маленьких городков, скоплений домиков тут и там, силуэты мечетей и минаретов. Она раздумывала о том, какие семьи населяют эти домики и какие дети, если они не спят, могут смотреть на их автобусик и думать о том, куда они едут. К тому моменту, когда они достигли места назначения, очень поздним вечером, она заснула, прижимая к груди дядину шляпу, ее маленькое бледное отражение в окне машины проплывало мимо зданий.

Увидев, где они будут жить, Лейла удивилась и слегка расстроилась. Все окна были закрыты старыми сломанными москитными сетками, пятна плесени поднимались вверх по стенам, крапива и сорные травы проросли между камнями на садовых дорожках. Однако, к ее радости, во дворе стояла деревянная ванна, в которую можно было накачать воды. Чуть подальше, в поле, возвышалось тутовое дерево. Когда с гор слетал, кружась, ветерок и ударялся о дерево, с него, словно дождь, срывались тутовые ягоды, оставляя пятна на руках и одежде. Дом не был удобным, зато был совсем иным – это было приключение.

Ее старшие кузены и кузины, подростки разной степени мрачности, объявили, что Лейла, мол, слишком мала, чтобы жить с ними. Да и с мамой она поселиться не могла – ей дали такую маленькую комнату, что там с трудом помещались ее чемоданы. И пришлось Лейле спать с малышами, некоторые из них писались в кровать, кричали или смеялись по ночам – в зависимости от содержания снов.

Как-то поздно ночью Лейла лежала без сна с открытыми глазами и совершенно неподвижно, вслушиваясь в каждый скрип, всматриваясь в каждую пролетевшую тень. Судя по гудению комаров, они наверняка просочились сквозь дырки в сетке. Комары сгрудились у нее над головой и зудели прямо в ушах. Они ждали, пока тьма не сгустится, и пробрались в комнату одновременно – комары и дядя.

– Ты спишь? – спросил он, когда впервые вошел и уселся на край ее кровати.

Он говорил тихо, чуть громче, чем обычно шепчут, стараясь не разбудить малышей.

– Да… нет, не совсем.

– Жарко, правда? Я тоже не могу заснуть.

Лейле показалось странным, что он не пошел на кухню, где мог бы выпить стакан холодной воды. В холодильнике стояла миска с нарезанным арбузом, им можно было бы прекрасно перекусить среди ночи. И освежиться. Лейла знала, что некоторые арбузы вырастают такими огромными, что, если положить в них младенца, там все равно еще останется место. Но этой информацией она предпочла не делиться.

Дядя кивнул, словно прочитал ее мысли.

– Я ненадолго, всего на минутку, если ваше высочество позволит, конечно.

Лейла попыталась улыбнуться, но ничего не получилось.

– Э-э-э… хорошо.

Он быстро откинул простыню и лег рядом с ней. Она услышала, как бьется его сердце – громко и часто.

– Ты пришел проведать Толгу? – спросила Лейла после минуты неловкого молчания.

Толгой звали младшего сына дяди – он спал в кроватке возле окна.

– Я хотел проверить, все ли у всех хорошо. Только давай не будем говорить. Не нужно их будить.

Лейла кивнула. Правильно.

Из живота дяди раздалось урчание. Он смущенно улыбнулся:

– Ох, видимо, я слишком много съел.

– Я тоже, – ответила Лейла, хотя ела она мало.

– Неужели? Можно я пощупаю, какой у тебя животик? – Он приподнял ее ночную рубашку. – Можно я положу руку сюда?

Лейла ничего не ответила.

Он стал рисовать круги вокруг ее пупка.

– Мм… Ты боишься щекотки?

Лейла покачала головой. Большинству людей щекотно, когда дотрагиваются до их ступней или подмышек. Ей было щекотно, когда прикасались к ее шее, но этого она ему не скажет. Ей казалось, стоит только сообщить людям о своем слабом месте, они непременно дотронутся до него. Она молчала.

Поначалу круги были маленькие и едва заметные, но потом они стали расти, достигая интимных мест. Лейла смущенно отстранилась. Дядя придвинулся чуть ближе. От него пахло тем, что ей не нравилось, – жевательным табаком, алкоголем и жареным баклажаном.

– Ты всегда была моей любимицей, – сказал он. – Уверен, что ты знаешь об этом.

Его любимицей? Он сделал ее менеджером футбольной команды – и что? Заметив ее смущение, дядя другой рукой погладил ее по щеке.

– Хочешь знать, почему я люблю тебя больше всех?

Лейла ждала – ей было интересно услышать ответ.

– Потому что ты не такая эгоистка, как другие. Умная, милая девочка. Никогда не меняйся. Пообещай мне, что не изменишься.

Лейла кивнула, представляя, какое раздражение этот комплимент вызвал бы у ее старших кузенов и кузин. Жаль, что их тут нет.

– Ты доверяешь мне?

В темноте его глаза казались прозрачными топазами.

И вот она снова кивнула. Спустя многие годы Лейла станет ненавидеть этот свой жест – безоговорочное послушание возрасту и авторитету.

– Когда ты станешь старше, я буду защищать тебя от мальчиков, – продолжал дядя. – Ты даже не представляешь, какие они. Я не позволю им к тебе приближаться.

Он поцеловал ее в лоб, как это бывало каждый Курбан-байрам, когда они всей семьей приезжали в гости и дядя дарил ей леденцы и карманные деньги. Он поцеловал ее точно так же. А потом ушел. Так было в ту первую ночь.

На следующий вечер он не пришел, и Лейла уже готова была забыть всю эту историю. Однако на третью ночь он вернулся. На этот раз он улыбался куда шире. В воздухе повис аромат каких-то специй. Неужели он намазался средством после бритья? Увидев, что он идет, Лейла тут же закрыла глаза, прикидываясь спящей.

Дядя тихо приподнял простыню и устроился рядом. Он снова положил руку ей на живот, и на этот раз круги были больше и настойчивее. Он искал и требовал того, что, как он считал, уже принадлежит ему.

– Вчера я не смог прийти, твоя *йенге* плохо себя чувствовала, – сообщил он, словно извиняясь за пропущенное свидание.

Лейла слышала, как чуть дальше по коридору храпела мама. Тете и *бабá* отвели просторную комнату на втором этаже, неподалеку от ванной. Лейла слышала разговоры, что тетя продолжает то и дело просыпаться по ночам и что лучше, если она будет спать отдельно. Значит ли это, что она больше не сражается со своими демонами? А возможно, это означает, что демоны в итоге выиграли войну.

– Толга писается в кровать, – открыв глаза, ляпнула Лейла.

Она и сама не знала, зачем сказала это. Она никогда не видела, что мальчик делает такое.

Если дядя и удивился, то не показал этого.

– Знаю, дорогая. Я позабочусь об этом, не стоит волноваться.

Его дыхание согревало ей шею. У него отросла щетина, которая колола ей кожу. Лейла вспомнила наждачную бумагу, которую *баба́* использовал для полировки люльки малыша, который вот-вот должен был родиться.

– Дядя…

– Тсс! Нам нельзя разбудить остальных.

Нам. Они, значит, команда.

– Держи, – сказал он и прижал ее руку к передней части своих шортов, где-то между ног; Лейла поморщилась и отняла руку. Схватив ее за запястье, он снова притянул ее руку вниз и сказал раздраженно и зло: – Я сказал, держи!

Ладонью Лейла ощущала отвердение. Он извивался, стонал и сжимал зубы. Он двигался вперед-назад, его дыхание участилось. Лейла лежала неподвижно, ни жива ни мертва. Она даже уже не касалась его, но, видимо, он этого не замечал. Он простонал последний раз и перестал двигаться. Дышал он тяжело. В воздухе повис какой-то резкий запах, и простыня была влажной.

– Смотри, что ты сделала со мной, – сказал он, когда снова обрел дар речи.

Лейла была смущена и обескуражена. Инстинктивно она ощущала, что все это неправильно и не должно было случиться. Она во всем виновата.

– Ты дурная девчонка, – сказал дядя; он казался серьезным, почти грустным. – Ты казалась такой милой и невинной, но это ведь просто маска. Глубоко внутри ты такая же гадкая, как и все остальные. Невоспитанная. Как же ты меня провела!

Лейлу пронзило чувство вины, такое сильное, что она не могла пошевельнуться. В глазах стояли слезы. Она старалась не заплакать, но не смогла. Она зарыдала.

Некоторое время дядя смотрел на нее.

– Ладно, хорошо. Я не могу смотреть, как ты плачешь.

Почти сразу же Лейла стала плакать тише, хотя чувствовала она себя вовсе не лучше, скорее хуже.

– Я по-прежнему люблю тебя. – Он прижался губами к ее рту.

Никто еще не целовал ее в губы. Все ее тело словно бы онемело.

– Не волнуйся, я никому не скажу, – шепнул он, принимая ее молчание за согласие. – Но ты должна доказать свою благонадежность.

Какое же длинное слово! *Благонадежность.* Лейла понятия не имела, что это значит.

– Это означает, что ты не должна никому ничего рассказывать, – проговорил дядя, опережая ее мысли. – Это означает, что это наша тайна. Об этом должны знать только два человека – ты и я. Третьего быть не должно. А теперь скажи: ты умеешь хранить секреты?

Разумеется, она умела. Она и без того хранила в своем сердце слишком много тайн, эта – очередная.

Спустя время, становясь старше, Лейла снова и снова задавалась вопросом, почему он выбрал именно ее. У них была большая семья. Были и другие девочки. Самой красивой она не была. Да и самой умной тоже. Она продолжала размышлять об этом, пока однажды не поняла, насколько ужасен этот вопрос. Задаваясь вопросом: «Почему я?», она словно спрашивала: «Почему не кто-то другой?», а за этот вопрос она сама себя ненавидела.

Загородный дом со ставнями, зелеными ото мха, и невысокой деревянной оградой, которая заканчивалась там, где начинался галечный пляж. Женщины готовили еду, мели полы, мыли посуду, мужчины играли в карты, триктрак, домино, а дети бегали поблизости и кидались друг в друга репейником, который приставал ко всему, к чему они прикасались. Землю усеивали раздавленные тутовые ягоды, а на обивке мебели виднелись пятна от арбуза.

Загородный дом у моря.

Лейле было шесть лет, а ее дяде – сорок три.

В тот же день, когда они вернулись в Ван, Лейла слегла с лихорадкой. Во рту у нее появился металлический привкус, болезненный узел залег глубоко в животе. У нее была такая высокая температура, что Бинназ и Сюзан подхватили ее на руки и отнесли в ванную, где опустили в холодную воду, но это не помогло. Ее держали в лежачем положении с пропитанным уксусом полотенцем на лбу, на груди у нее был горячий луковый компресс, на спине – листы вареной капусты, а на животе – ломтики картошки. Каждые несколько минут в ее ступни втирали яичные белки. Весь дом провонял так, словно это был рыбный базар под конец дня. Но ничего не помогало. Девочка бормотала что-то бессвязное, скрежетала зубами, вспышки света плясали перед ее глазами, она то приходила в сознание, то снова теряла его.

Харун хотел позвать местного цирюльника – человека, который, помимо своих основных обязанностей, также производил обрезание, вырывал зубы и делал клизмы, но оказалось, что он уехал по срочному делу. Пришлось Харуну вызвать Даму Фармацевта, для него это было тяжелое решение, так как не только он не любил ее, но и она его недолюбливала.

Никто точно не знал ее настоящего имени. Для всех она была Дама Фармацевт, женщина странная во всех смыслах, но не лишенная авторитета. Полная вдова с ясными глазами, носившая пучок, такой же тугой и натянутый, как ее улыбка, одевалась она в сшитые на заказ костюмы и дерзкие шляпки и говорила с уверенностью человека, к которому всегда прислушиваются. Она пропагандировала светское образование и все современное, пришедшее с Запада. Непоколебимый враг полигамии, она не прятала свою неприязнь к человеку, имеющему две жены, ее коробило от одной мысли об этом. В ее глазах Харун и все его семейство с их суевериями и упорным отказом принять новые научные открытия были полной противоположностью будущему этой раздираемой противоречиями страны – будущему, на которое она искренне надеялась.

Но тем не менее Дама Фармацевт пришла на помощь. Она явилась со своим сыном Синаном. Мальчик был примерно того же возраста, что и Лейла. Единственный ребенок, воспитанный одинокой работающей матерью, – настоящая дикость. Люди из города часто сплетничали о них, порой с презрением, порой с насмешкой, но делали это осторожно. Несмотря на все эти шепоты, к Даме Фармацевту все равно относились с большим уважением и в самые трудные моменты обращались за помощью. В итоге мать и сын жили на задворках общества, их терпели, но по-настоящему не принимали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.